

Дмитрий Сергеев

Залито асфальтом

Расходы на путешествие в один конец составили шесть копеек – цена автобусного билета в нашем городе. Я выбрал будний день и спокойные часы, когда не бывает давки. Доехал до центральной площади. Тополиный пух реял в знойном воздухе, взмывал из-под колёс легковых автомобилей. Я пересёк сквер. От Ангары дохнуло прохладой. Дырчатые железные ступени старого костёла напомнили время, когда я мимоходом вбегал на них, чтобы услышать приглушенный глубокий звон, и раскалённый металл обжигал мои босые пятки.

Здесь проходило моё детство...

Зиму и лето мы провели на захудалом прииске в мариинской тайге. Небогатую золотоносную россыпь быстро отработали, глухому посёлку в окружении непригодных земель угрожало запустение. Как раз нагрянули вербовщики. Отец подался на новый прииск. Мать осталась с нами – мне восемь лет, Витьке пять – в небольшом селе близ опустевшего прииска: прожить лето с семьёй в деревне было дешевле. Вскоре пришло известие от отца. Он сообщал, что заработки ожидаются хорошие, снабжение на прииске налажено, с жильём устроился.

Осенью мы пустились в дорогу. Прииск Счастливый в стороне от никому неведомой станции Ужур на железнодорожной ветке Ачинск – Абакан. В осеннюю распутьицу сообщение с прииском прерывалось. Нам предстояло ожидать, когда ударят морозы, скуют горную речку и болотные топи. Но судьба смилиостивилась: санный поезд вышел со станции до наступления зимы. Это был вынужденный рейс; на прииске, отрезанном от дорог, кончилось продовольствие, надо было спешно завозить муку и консервы.

Громоздкие сани с полозьями из цельных брёвен, гружёные ящиками и мешками, волочил по непролазной хляби гусеничный трактор, который и сам едва не увязал в трясине. Мы с Витькой, закутанные в одеяла и ватники, сидели поверх воза, восхищённо таращили глаза на сланцевые гребни и притихшую оголённую тайгу. Озабоченное лицо матери то и дело склонялось над нами. Её страшили щетинистые горы в верховье порожистой речки.

У подножия горы лепились бревенчатые домишкы с примыкающими к ним дровяниками и сенями. Ровного места в долине хватило только на то, чтобы поставить школу да один барак для холостяков. Мы занимали половину пятистенной избы; отец заплатил за неё сто двадцать рублей. Каменистый взём начался сразу за глухой стеной нашего дома, обращённой к сопке. По ливневой выбоине отец спускал на верёвке срубленные наверху лиственницы и сосны. Половину жилья отнимала широченная русская печь, за зиму она пожирала прорву дров. Высокая поленница в два ряда огораживала наши сени дополнительным забором. Все приисковые домишкы срублены были наскоро, кое-как. Не было расчёта строить основательно: никто не знал, долго ли просуществует новый прииск. Название Счастливый ни к чему не обязывало: россыпь могла быстро иссякнуть. Зимние бураны обрушивались на плохо проконопаченные стены. Ветер стегал в одном направлении, вдоль ущелья. У каждого дома наметало сугробы вровень со скатом крыши. Наши сени и поленница оказались погребёнными под тугими пластами снега. Отец прорубил в сугробе узкий коридор. Нарочно сделал его двумя кривулинами, чтобы в них терялась сила ветра.

Однажды отец посулил Витьке выстругать из полена большого коня, на котором можно было бы скакать верхом вокруг печки. И у меня тоже спросил, чего я хочу. У многих мальчишек я видел самодельные коньки – деревянные колодки, подбитые полозом из стального прута. Меня уверяли, что на них можно кататься не хуже, чем на снегурках. Настоящих коньков никто не догадывался завезти в приисковую лавку.

– Будут тебе коньки, – обещал отец.

Назавтра он принёс две толстые берёзовые чурки. Их шероховатые срезы приятно было трогать руками. Стылое дерево хранило в себе уличный холод, накопленный в первые дни

зимы. Древесина начала оттаивать, и в нашей избе запахло лесною свежестью. Витька залез верхом на чурбак и воображал себя кавалеристом, размахивая над головою лучиной вместо шашки.

И теперь, много лет спустя, я хорошо помню эту сцену.

Отец, не раздевшись, в новом ватнике, только без шапки, сидел на скамье, привалившись спиной к жаркому боку печки. На лбу у него выступила испарина, мокрая прядь седеющих волос прилипла к виску. Слышно, как он дышит – тяжело, со свистом и хрипом в горле. Прищурив глаза, серьёзно, без улыбки смотрит попеременно то на меня, то на Витьку.

Мне хочется подойти к нему, но я не осмеливаюсь, жду, когда он сам поманит меня.

До этого мы почти всё время жили с ним врозь: каждый год отец уезжал куда-нибудь на отдалённый рудник или прииск, на заработки. Домой от него приходили одни денежные переводы. Писем мы не получали: отец не умел писать.

Он так и не подозревал меня в тот вечер. Откинув голову, долго сидел неподвижно с зажмуренными глазами, изредка вытирая рукавом телогрейки пот с лица.

Ни обещанного Витьке коня, ни коньков он так и не сделал. Берёзовые заготовки вскоре пошли на дрова.

Отец захворал в начале зимы и долго крепился, продолжал ходить в шахту. Потом не смог. Удалось добиться направления в Томск – по слухам, там были самые лучшие врачи. Вернулся он немного подлеченный и ещё две недели спускался в забой. Затем слёг снова. Сосновый самодельный топчан со скрещёнными тесовыми ногами стал для него больничной койкой. Изредка отца навещал фельдшер, прописывал горчичники и аспирин. Подозреваю, что других средств в приисковой аптеке не было, разве что касторка.

Ни горчичники, ни аспирин не помогали. Отец заболел горняцкой болезнью, от которой не вылечиваются и теперь. Название болезни я узнал много позднее – силикоз.

Предчувствие неотвратимой беды и сознание вины перед всеми нами мучили его. Ведь это по его настоянию мы оставили насиженный угол в Иркутске – не бог весть какую, но всё же квартиру – и пустились в путь. Отец всю жизнь провёл на рудниках и шахтах, пытаясь киркою и лопатой обеспечить безбедное будущее своей семьи.

На одном месте подолгу он не засиживался. Легко, на веру принимал щедрые посулы вербовочных плакатов и объявлений. Как все романтики, он был доверчив и нерасчётлив. И только болезнь сделала его рассудительным. Он представлял себе, каково будет матери одной с двумя малолетними на руках в этой сугробной глухи, где заработать деньги на пропитание можно лишь собственным горбом и мозолями. Уже вскоре после того, как он захворал, матери пришлось пойти уборщицей в приисковую контору. Денег, какие платили отцу по больничному листу, хватало выкупить продукты в кооперативе, но для тех, кто не работал, паёк отпускался по другой норме.

Теперь отец пытался развлечь нас. Подыгрывал к себе и начинал рассказывать про давние случаи из своей жизни или расспрашивал нас про наши мальчишеские дела. Мы отчуждённо молчали.

Налаживать дружбу с нами было поздно. Мы с Витькой так и не привыкли к отцу. Теперь, когда он лежал беспомощный и нуждался в уходе, нам было скучно возле него. К тому же мы боялись отца, боялись его острого взгляда, щетинистых бровей, измощдённого лица, поседевших колючих усов...

Прошёл май. Сугроб вокруг дома осел, из него выставились остатки поленницы и каменные горбы. Эти нападавшие сверху глыбы поразили меня ещё осенью. Засыпая в первую ночь, я с ужасом думал, что будет с нами, если хоть один валун придавит избу. Зимою их было не видно, и я позабыл про них, а теперь они снова напомнили о себе. В середине дня из-под осыпи начал сочиться ручей.

Тянуть дальше, надеясь, что отцу полегчает и он сможет ходить в шахту, было бессмысленно. Решили возвращаться в Иркутск. Зачем нужно было непременно ехать в Иркутск? Пристанища у нас не было нигде. В этом смысле все города были для нас

одинаковы. К тому же Красноярск и Томск находились ближе. Но для матери выбора не могло быть – Иркутск был её родиной. Моей и Витькиной родиной тоже. Мы ликовали. Знакомые и соседи пришли проститься и помогли уложить наши пожитки. С прииска мы выехали на санях, а через десять километров, на заимке, лошадей перепрягли в телеги. Да и последнюю версту перед заимкою коням пришлось тащить через силу: санные полозья буровили по грязи.

Помню, как изумились мы с братишкой, увидав зелёную траву и подснежники. Даже отец, когда его перетаскивали с воза на воз, оживился, глядя на свежую зелень. И только у матери не нашлось времени порадоваться.

Поклажи у нас немного, вся уместилась на одну телегу – с полдюжины узлов и ящиков. В старенький, обитый чёрной жестью сундук был запрятан куль с крупчаткой – всё наше богатство. Куль муки удалось скопить за зиму: снабжение на прииске было неплохим. Впоследствии эта мука выручила нас.

На станции пришлось нанимать носильщиков. Самой неудобной кладью было костенеющее тело отца. С ним едва управлялись двое. Отец измученно улыбался своими мертвющими губами. По этой улыбке многие решали – не жилец, и говорили об этом вслух, кто сочувствя матери, кто осуждая её, что пустилась в дорогу с полупокойником и детьми.

К Иркутску поезд приближался на рассвете. Вещи были уложены, увязаны и вытащены в проход. Отец лежал на нижней полке, безучастный к нашим восторгам, даже скорое окончание дороги не обрадовало его. Мы прильнули к окну. Вид на город открывался при подходе поезда к железнодорожному мосту. Высоковолытные опоры и подъёмные краны у затона не заслоняли тогда набережной – взгляд охватывал всё пространство от понтонного моста до куполов бывшего Знаменского монастыря.

Нынешний высотный очерк города делают телевизионная вышка и заводские трубы. Тогда эту роль выполняли церкви и колокольни. Навстречу поезду сквозь блёклый обвод рассвета чётко смотрели десятки куполов с не различимыми ещё крестами. Можно было узнать грузный массив нового собора, слева от него Спасскую церковь и Старый собор. Между ними в небо тонким острием вонзился шпиль польского костёла. Позади сквозь рассветную дымку тускнели купола других церквей, стоявших вдали от набережной. По одинокой трубе можно было угадать место Курбатовской бани на берегу. Её стену утяжеляли кирпичные распоры, они делали её похожей на равелин.

Нынешнего моста на бетонных опорах тогда не было. Настил из плах лежал на разводных понтонах. Из окна поезда невозможно было разглядеть неподвижные устои моста у противоположного берега – загруженные камнями ряжи из лиственниц.

Остатки старых мостовых быков можно и теперь увидеть в прозрачной воде.

Если бы мы подъезжали днём, позади Старого собора в бывшей архиерейской усадьбе должна была виднеться крыша двухэтажного деревянного дома.

С этим домом связано начало моей жизни: там осталась квартира, откуда два года назад наша семья отправилась в странствие и куда теперь устремилась мать, думая найти помочь и временный приют у своих давних друзей и соседей.

Мне всегда представлялось, что, повернув за угол, я застану на прежнем месте точно такую же дремотную окраину, какою этот квартал был в начале тридцатых годов. Я почти не ошибся: на коротком отрезке перед бывшей Семинарской улицей не встретилось ни одного прохожего. Я готов был уже проникнуться чувством умиления, на которое давно настраивал себя.

С Ангары потянуло прохладой и влагой. Свежесть этого воздуха памятна мне с детства. Только запах теперь стал другим.

Интересно, почему запахи, которые запомнились в детстве, всегда вызывают волнение?

На углу пришлось ждать, когда разрядится движение. Разномастные грузовики мчались один за другим – тупорылые и неуклюжие, с громыхающими порожними прицепами. Из-под тяжёлых баллонов постреливало крошками асфальта, несло бензином и размягчённым на жаре гудроном.

Вот эта-то примесь паров битума и делала незнакомым воздух набережной. Раньше по этой улице тоже шёл грузовой поток – по булыжникам цокали подковы, скрежетали колёсные ободья, разило конским потом и тёплым навозом. Позади конных обозов воробышные стаи накидывались на дармовой корм. Теперь после грузовиков воробышьям поживиться нечем.

Пока я стоял на углу, возникшее было чувство умиления растворилось бесследно. Я успел разглядеть, как изменилось всё вокруг. Пожалуй, кроме блёклого неба да церковных куполов, ничего не сохранилось. Да и купола были уже не те. Когда-то их посшибали. Реставрировать взялись недавно и занимались этим небрежно. Приделали фальшивые купола из крашеной жести, вместо крестов поставили шпили, тоже обитые жестью.

В то давнее майское утро тридцать первого года между Старым собором и Спасскою церковью простирался пустырь. Сюда сходились две улицы. От каждой из них накатанные тележные следы вели к воротам в бывшую архиерейскую усадьбу. Остальная часть пустыря зарастало травой и бурьяном, по ночам сюда тайком сваливали мусор, всюду были раскиданы обломки кирпича и битое стекло. После сильных дождей почва раскисала, лошади по брюхо увязали в грязь.

Пустырь имел форму усечённого треугольника, который суживался к берегу. Острье угла отрезалось рекою. Здесь на береговом откосе стояла арка, сложенная из камня и кирпича. Её построили в прошлом веке в честь наследника престола, который намеревался посетить Иркутск.

Извозчичья пролётка, осевшая под тяжестью груза, не бойко катилась по дороге, умягчённой слоем пыли. Не представляю себе, каким чудом уместилось на ней всё наше добро. Отца поместили поверх узлов. Мать неловко сидела на возвысях, упираясь в облучок. Витька дремал у неё на коленях. Лошадёнка едва трусила. Кучер, жалеючи, только страшал её вожжами, покручивая их над головой.

Я устроился на запятах. Вначале мать не соглашалась, боялась за меня, но кучер убедил её, что я никуда не денусь, и для страховки пристегнул меня ремнём. Ремень этот не стеснял свободы, я мог вертеться во все стороны.

Створы ворот с чугунными узорами были распахнуты внутрь. С тех пор, как громадный каменный дом и другие постройки, некогда принадлежавшие епархии, были отобраны под жильё и конторы, движение во дворе стало чересчур оживлённым – отворять и затворять ворота каждый раз было некому. Днём перед конторскими окнами скапливались извозчики. Начальники учреждений и курьеры с деловыми бумагами надолго исчезали в глухих переходах мрачного здания. Извозчики в ожидании дремали на козлах.

Днём из подвалов выползала детвора. В ограде становилось тесно.

Позади каменного находился двухэтажный деревянный дом. Семья Жердиных жила в нём. Сейчас в обоих домах была тишина, тень от домов распласталась по всему двору. Низкое солнце озаряло две главные башни Старого собора и купола поменьше над церковными приделами. На выпуклую заднюю стену собора, обращённую во двор, падала тень от ветвистой, голой ещё лиственницы и кустов волчьей ягоды. Необъятная пустота между церковью и обоими домами до краёв была наполнена прохладой и свежестью. Солнечные лучи наискось пронизывали эту пустоту. Я уловил позабытые запахи родного места – моё сердечко сжалось от радостного предчувствия.

Мать показала извозчику, куда подвернуть. Лошадёнка, угадав скорый отдых, бодро плеснула подстриженным хвостом. Колеса подпрыгнули на рытвине, пролётка грузно осела на разношенных рессорах. Узлы сильно тряхнуло, Витька открыл глаза.

– Приехали!

Не дожидаясь, когда экипаж остановится, я отстегнул ремень и спрыгнул с запяточка. Трава была мокрая от росы. Сквозь изветшалый верх в ботинки проникла влага и холод. Ощущение этой сырости тоже показалось мне особым, родным. Будто обильная роса не могла быть в другом месте – только в нашем дворе.

Мать оставила Витьку наверху, побежала будить Жердиных. Лицо у неё встревоженное: неизвестно ещё, как нас примут.

Витька захныкал и поманил меня. По его беспокойному взгляду я понял – зовёт отец.

За дорогу лицо отца совсем опало и посерело. Он силился что-то сказать. Я наклонился к нему. Сухие губы медленно шевелились, но я ничего не рассыпал.

– Приехали, папа! — громко сообщил я на всякий случай.

Он недовольно поморщился, видимо, спрашивал о другом.

Из дому в нижней рубахе, ещё не умытый, выбежал Яков Жердин. Оживлённая улыбка сияла на его припухлых губах.

– Здорово, Ганя! С приездом! – звонко выкрикнул он.

Тусклый отсвет – радости пробежал по лицу отца. Он попытался поднять голову.

Нас с Витькой окружили пацаны. Наши рассказы про диковинный прииск вызвали интерес, но вряд ли нам верили. Исхлёстанная свирепыми ветрами теснина, каменные отроги в вышине и нагромождения глыб на склонах самому мне в то солнечное утро казались невероятными.

– Серёжа, Витя! – позвала нас тётя Зина.

Несколько женщин молчаливо толпились возле заднего крыльца. Мы прошли мимо.

Отец лежал на сундуке, в котором находился куль крупчатки. Ложе было коротким ему, под ноги поставили табурет. Солнечный свет падал на неподвижные ступни, выглядывающие из-под редкого покрывала. По необычному молчанию людей, собравшихся в комнате, я догадался, что позвали нас не зря. Отец не пошевелился, когда мы с братом приблизились к изголовью. Глубоко запавшие глаза его были закрыты, в дряблых складках на щеках высыхали две крупные капли. Эти медленно таявшие слёзы больше всего поразили меня: я не подозревал, что отец тоже способен плакать.

– Бедные сиротинки, – прошелестел над ухом старушечий голос, рука бабы Нюши опустилась на мою голову.

Окно было распахнуто, в него лился тёплый воздух, пахнущий рекой и клейковиной недавно полопавшихся тополиных почек. Разносились ребячью крики.

Пришёл врач. В коридоре засуетились. Послышался сердитый шёпот тёти Зины:

– Куда вешаешь! Другого места не нашла?

Непутёвая Катька собиралась повесить докторский плащ на семейную вешалку рядом с детскими пальтишками и ватными фуфайками.

Никто ещё не решался сказать доктору правду. Было неловко, что побесокоили напрасно. В общей суматохе до нас никому не было дела, мы с Витькой незаметно улизнули на улицу.

– Что там? – поинтересовался Васька, мой давний закадычный друг, старший сын Жердиных.

– Ничего. Папка умер.

Мы схватились бороться. Роса на траве уже высохла. Ближний извозчик с высоты козел лениво наблюдал за нашим состязанием и попеременно давал советы то одному, то другому:

– Ногой подсекай, ногой, растяпа!

Из дому вышел доктор, держа перекинутый через руку плащ. Пролётка слегка осела под ним. Кучер щёлкнул бичом.

Про нас с Витькой позабыли. Мать занялась хлопотами, побежала заказывать гроб, могилу, доставать какие-то справки... Мы присели на нижней ступеньке крыльца. Подошло обеденное время, из раскрытых окошек доносился запах пищи.

Вскоре Жердины пообедали, за столом освободилось место.

– Серёжа, Витя! – не выходя из дома, крикнула тётя Зина.

Когда мы проходили через общую кухню, жердинская соседка Антонина Сергеевна торопливо сунула нам с братом по лепёшке.

С этого дня началась наша безотцовщина.

Витьку на кладбище не взяли, хотя он всё утро хныкал.

Провожающих набралось немного; кроме Жердиных пришли несколько грузчиков из Золототранса, знавшие отца. Все они жили в нашем дворе. Пока опускали гроб и закапывали могилу, мы с Васькой Жердиным носились по кладбищу. Издали глазели на процессию с попом – видно, хоронили кого-то из богомольных. Позади свежего ряда могил начинался мелкий лесок. Мы отыскали муравьиную кучу и надолго увлеклись, позабыв обо всём. На отцовской могиле мужики на поминки распили бутыль водки, собирались уходить и хватились нас. Нам обоим досталось по лёгкому подзатыльнику от Васькиного отца.

Мать ухватилась за первую подвернувшуюся работу – уборщицей в инвалидном доме. Ходить было далеко, на другую сторону Ангары, через два моста, понтонный и железнодорожный, – автобусов в нашем городе тогда не было. Поднималась она чуть свет – мы ещё спали, а возвращалась с дежурства к ночи. Нас с Витькой оставляла на попечение бабы Нюши.

– Зато зимою по льду напрямик близко будет. А может быть, подышется что-нибудь лучше, – утешала себя мать.

Главное, что заботило её, – найти угол для всех нас, возможно. Но и выбора у матери тоже не было – иначе останешься без хлебных карточек.

Пока деваться нам было некуда, мы надолго остались на квартире у Жердиных, в двух комнатах четверо взрослых и шестеро ребятни. К зиме ожидалось прибавление: тётя Зина ходила с животом.

Мы с Витькой спали на том самом сундуке, в котором везли крупчатку и на котором в день приезда умер отец. Только теперь муку пересыпали в ларь, сундук выставили в коридор, в него сложили зимнюю одежду. Мы устраивались на нём валетом, головами в разные стороны. Во сне Витька лягался и вскрикивал, скатывался на пол и стягивал с меня одеяло. Вообще ночью по жердинской квартире ходить нужно было с опаской, легко было наступить на кого-нибудь в самом неожиданном месте. Из жердинских ребятишек лишь младшая Нинка спала на кровати, в ногах у родителей. Остальным стелили на полу.

Вторую, меньшую, комнатушку занимала баба Нюша и наша мать.

Баба Нюша много лет жила у Жердиных в услужении. По очереди вынянчила всех пятерых, начиная с Катьки. За прошедшие тринадцать лет она совсем одряхлела, и теперь проку от неё было немного. Но не прогонять же из дома старуху. В меру своих сил она помогала – прибирала, иногда готовила обед. Она была и приживалкой, и прислугой. Работы ей хватало, весь день чем-нибудь занята. Однако усердие бабы Нюши не искупало главного её порока, служившего причиной постоянных раздоров между нею и тётей Зиной. Дело в том, что в нашей квартире баба Нюша оставалась единственным мрачным пятном – была верующей. В углу над изголовьем её кровати висела икона, иногда горела лампада. Нам с Витькой со своего сундука в коридоре среди ночи виден был тусклый свет, который пробивался в дверную щель. Покладистая во всём остальном, старуха ревностно оберегала свой религиозный уголок. Кроме иконы и лампадки, остальное её добро помещалось в самодельной укладке – жестяной банке из-под монпансье.

На удобный угол, который занимала старуха, зарилась Катька.

– Помрёт баба Нюша, буду спать на её кровати. Ей уже пора, и так зажилась. Чует моё сердце – быть в нашем доме по осени покойнику.

Катькино предсказание сбылось наполовину: смерть на самом деле навестила наш дом, но померла не баба Нюша, а Яков Жердин, Катькин отец. Он работал на товарной станции, и его придавило сошедшее с рельсов вагонеткой. Четверо жердинских ребят остались сиротами. Пятая, Октябринка, родилась, когда отца уже не было в живых.

Однажды мы с Витькой побывали в инвалидном доме. Мать соблазнила нас рыбалкой, сказала, что около дома есть хороший пруд. Накануне мы подготовили удилища, накопали червей. Весь день мечтали о предстоящей ухе. Другие ребята даже завидовали нам.

Половину пути мы проехали на подводе. Утром из конного парка на товарную станцию тянулись обозы порожняка. Они всегда шли одною дорогой, по Семинарской улице, мимо нашего двора.

Увы, нас ждало разочарование: в пруду, про который говорила мать, водились одни лягушки. День показался нам нескончаемо долгим, мы изнывали от скуки. Старики и старушки замучили нас одними и теми же вопросами. Все почему-то жалели нас.

Болото, где стоял инвалидный дом, теперь давно застроено. Трясину забутовали галькой и шлаком. Вряд ли кто сейчас сможет показать точно место, где находился этот дом.

Вторично заманить нас туда мать уже не могла.

По вечерам мы с Витькой ждали её, сидя на крылечке. Сумерки медленно густели вокруг нашего дома. В непривычной тишине опустевшего двора разносилась чьи-то шаги. У Витьки слух лучше моего: шаги матери он узнавал и тогда, когда она ещё шла через пустырь. Он первым срывался с крыльца и, не пугаясь темноты, бежал навстречу ей.

Обыкновенно мать кормила нас болтушкой из толокна. Ничего другого на скорую руку приготовить было нельзя. Никто, кроме нас троих, в этот час не сидел за кухонным столом. Хлебные карточки мать прикрепила в магазине неподалёку от инвалидного дома, чтобы можно было выкупить паёк попутно.

Смутно припоминаю эти первые в моей жизни карточки с разноцветными полосами по диагонали. Цвет полос означал многое – по ним различали категорию снабжения. Самая высокая норма полагалась тем, кто работал на заводе. Матери на день давали пятьсот граммов хлеба, нам с Витькой по триста. Кроме хлеба, всем отпускали по килограмму крупы на месяц. Детям ещё выдавали карточки на сахар – пятьсот граммов в месяц. Но сахару мы не видели: карточки редко когда удавалось отоварить.

Куль крупчатки, привезённый с прииска, расходовали понемногу. Мать сберегала его на чёрный день, не очень веря разговорам, будто к зиме снабжение наладится.

Между колокольней и Старым собором уцелела древняя стена. Сквозь слой штукатурки в ней проглядывала большая брешь, кое-как заделанная кирпичами. Должно быть, проломлена она была в довоенную пору, когда в церкви помещалось заводское общежитие. В основание собора и колокольни уложен серый песчаник – его добывали из каменоломни на окраине Иркутска. От времени наружный слой каменных плит сильно износился и частью рассыпался в песок.

Следы разрушения заметны были и в пору моего детства. Колокольня уже и тогда была в плачевном состоянии: пустующая, без колоколов, с ветхими лестницами и балками внутри. Даже глядеть в её купол снизу было жутко – он представлялся колодцем, нацеленным ввысь. По карнизу на стыке четверика с восьмёриком кирпичи искрошились, образовалась почва. Туда заносило семена – кусты полыни и низкая трава на высоте опоясывали башню.

Новая заводская ограда из редких чугунных прутьев не вплоть примыкала к церковной стене. Подножие колокольни было теперь чуть ли не на метр ниже уровня заводского двора, залитого асфальтом. Здесь, на стыке, обнажался великолепный разрез поздних наслоений, хорошо было видно, что внизу под асфальтом скрыт мощный пласт строительного мусора и шлака.

Там же погребена земля, на которой, возможно, сохранились отпечатки босых ребячих ног. Одним из босоногих мальчишек, чьи следы могли отпечататься на земле, захороненной под асфальтом и толщей мусора, был я...

Короткие штанишки на мне держатся на перекрещённых лямках, за пояс заткнута рогатка. Вместе с другими пацанами я крадучись ползу по траве.

Вблизи церкви над запущенными, старыми могилами разрослись непроглядные кусты волчьей ягоды. За ними можно разместить целое войско. Над головами легонько покачивается разлапистая лиственница, её корни ощутимо колышут почву, старое дерево не то скрипит, не то вздыхает. Сквозь густую хвою цедится ласковый воздух лета, настоящий горьким ядом полыни, смолою древесной коры, гнилью отшелушившейся и замшевшей церковной стены и множеством других неопределимых запахов.

Мы затаились в рытвине, надёжно укрытые стеной крапивы, и наблюдаем за перемещениями во вражеском стане. Несколько стрекоз кружатся над нами. На верху собора, у самого купола, гомонят стрижи. Их стремительные тела просверкивают в вышине.

– Опять твой Шкилет увязался! – слышу над ухом шёпот нашего атамана Ритки. – Всё испортит.

Оглядываюсь: Витька, выследив нас, крадётся за кустами. Сейчас он заползёт в поповскую картошку – его могут увидеть камнедомские и догадаются, где мы.

Витька приобрёл дурную привычку всюду таскаться за мною. Ох и влетит ему сейчас!

Брат заметил меня, но удрать не смог. Я настиг его у крыльца. Бить по Витькиной костлявой спине не безопасно – можно отшибить ладошку. За худобу его и прозвали Шкилем.

– Будешь ёщё? Будешь?!

Неужели он не понимает, что может испортить весь продуманный план? Не хочет же он нам вреда. Почему он никак не поймёт, что его место среди мелюзги, с большими ему делать нечего. Витька хлюпает носом и ревёт.

Возвращаюсь к ребятам со скользким чувством исполненного долга и поздним раскаянием: мне чуточку жаль Витьку. Боюсь, не навредил ли ему. От взрослых я слышал: нельзя сильно бить маленьких.

Но размышлять об этом некогда. Нас заметили, в нашу сторону летят камни. Мы стойко обороняемся. Ещё накануне натаскали с берега в крапиву кучу гальки. Долго мы не продержимся – нас меньше. К тому же в тылу что-то недоброе замышляют поповичи.

Приходится отступать. Ритка прикрывает наш отход.

Ритка по крайней мере лет на пять старше любого из нас. Быть под её началом никому не зазорно. Боевой и задиристый нрав толкал Ритку в общество мальчишек. Мирным играм в скакалку и классы она предпочитала наши партизанские драки. Участь её во многом была схожа с нашей – она тоже росла сиротою. Мать умерла давно, отцу Ритка стала обузой. Девочку воспитывала тётка.

Вообще в нашем дворе почему-то многие вырастили без отцов.

Для нас Ритка была единственной заступницей. Связываться с ней избегали даже мальчишки старше её: победа над девчонкой большой славы не сулила, зато поражение могло надолго покрыть позором.

В ненастные дни Ритка собирала нас в своей кладовой. Там в сумраке под шум дождя рассказывала она страшные истории. Ещё она любила вспоминать своего отца. По её словам, он самый красивый мужчина и очень-очень несчастный.

– Мужчина-гусар! – почему-то называла она его.

Появляясь на рынке одному с медяком, зажатым в кулаке, опасно. Возле торговых рядов постоянно ошивалась шпана. Парни постарше держались неприметно, в сторонке, издали выщеливая добычу. Мелкота-шкеты шныряли между торговками, тащили всё, что подвернётся. На них не нарываЙся – и деньги отнимут, и по шее накостыляют.

Об этом я знал. Но пятак, раздобытый накануне, жёг мою ладошку, и я рискнул. До малого рынка от нас недалеко, он был в том месте, где теперь стоит цирк. Время было позднее, рынок почти опустел. Ничего подозрительного я не заметил. Шпана, наверно, уже отсюда смылась.

Меня привлекли пучки моркови с увядшей ботвой, жёлтые репы, тёмно-фиолетовые стручки бобов, кучками разложенные на холстине и мешках, постеленных прямо на земле.

– Восемь копеек! – Женщина неохотно назвала цену, подозрительно окидывая меня взглядом.

За много часов на жаре ей осточертели бесстыжие голодранцы.

– У меня только пять. – Я разжал перед нею потный кулак.

Торговка была покладистой.

– Во что сыпать?

Я подставил кепчонку.

Теперь нужно сматываться скорее. Я горстями запихивал своё богатство за пазуху – так надёжней. Влажный холодок щекотал моё тело. Мысленно я уже раздирал ногтями сочную мякоть стручков, выуживал продолговатые, плоские зёрна, крепкие и гладкие, словно речные камешки.

И тут я увидал чумазую, ухмыляющуюся рожу Пашки Шпинявого. Мерзкий холодок прополз по моей спине. Я панически огляделся. Если бы Пашка был один, тогда бы ещё можно было постоять за себя – Шпинявый был ненамного старше меня.

Но вдоль неровного ряда между торговками в нашу сторону приближались двое пацанов. Руки в карманы, босые ноги нарочито вяло шаркают по земле. Позади Пашки, прислоняясь к столбу в выразительно безразличной позе, стоял ещё один шкет в длинных штанах – этот был явно старше нас с Пашкой. Большим ногтем босой ноги он чертил на пыли замысловатую фигуру.

Плакали мои бобы – ни одного стручка не оставят, гады.

Можно было, конечно, заплакать, громко запросить помощи: «Тётичка, помогите!» Но такого исхода не допускала моя мальчишеская гордость.

Шпинявый, продолжая ухмыляться, поманил меня пальцем. Похоже, он по лицу прочитал моё отчаяние и наслаждался им. Я машинально продолжал запихивать бобы за пазуху.

– Бобов купил? Вкусные, – участливо улыбнулся Пашка.

– Угу, – промямлил я и покосился на приближающихся пацанов.

– Ух, какие толстые! – восхитился Пашка, протягивая руку к моей кепке: там осталось несколько стручков.

– Хочешь, Паша, возьми, – противным голосом предложил я. – У меня ещё есть. – Я запустил руку под рубаху и набрал горсть.

Паша сделал вид, будто поверил в мою щедрость.

– Ого! Сколько их у тебя.

Шкет у столба перестал рисовать по пыли и прислушался к нашему разговору. На Пашкином лице, закопчённом от солнца и грязи, по-негритянки светились зубы. Неожиданно он перестал улыбаться и свирепо поглядел на меня.

– А ну, вытряхивай всё, падла! – Он потянулся рукой, чтобы выдернуть полу моей рубашки из-под трусов.

– Шпинявый! – крикнул я и торопливо напялил кепку на голову. Последний стручок скользнул по щеке и упал на землю.

Пашка сжал кулаки, но отпрянул от меня. Видно, ему не очень хотелось связываться со мной в одиночку, он ждал, когда подойдут те двое.

Мускулы моих ног натянулись, и я решил попытаться бежать, пока Пашка растерялся. Я оглянулся: теперь позади были уже не двое, а трое. Одного из них я узнал – это был прозванный Щепой Генка Нелюдов из каменного дома в нашем дворе. Я и до этого знал, что Генка промышляет в одной компании со Шпинявым, но никак не думал, что он рискнёт отбирать у своих. Встреча была неожиданной и для Щепы: узнав меня, он юркнул за чью-то спину. В отдалении мелькнула фигура старшего брата Щепы. Должно быть, оттого, что узкие щёлки Колькиных глаз всегда были прищурены и лицо выглядело опухшим, будто спросонья, старшего Нелюдова прозвали Хомяком. Мы боялись его. Он был крут и жесток на расправу: ему ничего не стоило спустить с любого из нас штаны и посадить на крапиву или до смерти напугать, угрожая столкнуть в Ангару.

Колька тоже узнал меня и направился в нашу сторону. Все ждали его. Ясно – он тут у них главный заводила.

– Чего разбузились, огольцы? – спросил он.

– Да вот, – Пашка кивнул на меня, – бобов пожалел.

Хомяк лёгонько щёлкнул Пашку по носу.

– Не бойся, огольцы пошутили, – успокоил он меня. – Чеши домой. Только мамке не вздумай жаловаться.

Я ликовал. Неожиданное избавление вернуло мне бодрость.

– Легавым никогда не был, – сказал я.

Хомяк поощрительно подмигнул мне. Я направился к выходу.

– А за Шпинявого ещё получишь по сопатке, – посулил мне вдогонку Пашка.

Эта угроза немного охладила меня: своё обещание Шпиняный сумеет выполнить. Долгое время после этого я старательно избегал встреч с Пашкой. Он обычно никогда не бывал один.

Сейчас этот давний страх казался забавным. Теперь-то я знал, что ничего страшного не случилось, хотя мне и досталось от Пашкиных дружков – расквасили нос и подбили глаз. Увы, это было не самое горшее из того, что предстояло мне пережить в будущем. Теперь я мог снисходительно улыбаться, вспоминая детские страхи босоногого шпингалета в коротких штанишках на скрещённых лямках, – я знал его судьбу на тридцать восемь лет вперёд.

Бреду вдоль ограды, разглядывая паутину травы – она всюду, где в зазорах меж выщербленными кирпичами образовывалась хотя бы щепотка почвы. Две верхние ступени с паперти расташены, должно быть, ещё в пору, когда церковь была отдана под заводское общежитие и местный комендант пытался перекроить на свой вкус неприспособленное под жильё здание собора. Пять нижних ступеней сохранились. Каменные плиты сильно изношены; многие поколения прихожан протоптали на них заметные вмятины. Теперь камни крошатся сами по себе от смены жары и стужи.

В часы праздничных служб здесь было тесно от нищих. Их пёстрые лохмотья заполняли паперть, оставляя проход только в центре. Из сумрака притвора несло спётым воздухом и запахом ладана. Пустота, замкнутая под недостижимо высоким церковным сводом, почти ощутимо ложилась на мои плечи. Мерцали свечи, в отдалении золотились оклады икон и неразличимо тускнели на иконостасе лики Христа и богоматери. Непрестанное шарканье и шорохи не мешали звучать печальному пению хора. Я пробирался ближе к алтарю. Раззолоченная поповская риза колыхалась сама по себе – под нею не заметно было движений тела. Из-под тяжёлой юбки показывались носки сапог. Сочетание рясы, похожей на женское платье, и мужских сапог больше всего поражало меня.

Всего несколько раз побывал я в церкви. Из нашего дома одного только Нику Брызгалова заставляли молиться. В церковные праздники его наряжали в коричневый вельветовый костюм и белую рубашку с отложным воротником. Ника становился неузнаваем. Ни за что не подумаешь, что в другое время он бывал вместе с нами. Мать давала ему немного мелких денег – раздать нищим и поставить перед иконою свечку. Мы, не отрываясь, наблюдали, как разодетый Ника проходил через строй нищих, раздаивая копейки.

За пять копеек можно было купить липучку. Ею торговал китаец Ваня-Ходя. Свой переносный лоток он устанавливал на углу Ивановской и Семинарской улиц. (Ивановская была к этому времени переименована, но все называли её по-старому). Дольки пузырчатой, невесомой липучки лежали ровными рядами. Маленькая порция стоила пять копеек, побольше – десять. А самая большая, о какой можно было только мечтать, – двугривенный. За одну воскресную службу Ника просаживал в церкви не меньше пяти копеек. За год можно скопить столько, что хватило бы закупить у Вани-Ходи весь дневной товар.

Наши расчёты были убедительны, и Ника соблазнился. Расплата наступила в тот же вечер. Через форточку на улице был слышен Никин голос:

– Мамочка! Ой-ой! Не буду больше, не буду!

У взрослых, кто был в это время на дворе, мнения разошлись: одни осуждали расправу Никиной матери, другие защищали её.

Два дня после этого Ника был мрачен, избегал встречаться с нами. В его душе накапливалась злость и зрела месть.

– Пойдём бить окна в церкви, – предложил он.

До этого Ника никогда не участвовал в налётах на церковь. Никино решение хотя и удивило меня, однако показалось справедливым. Рубцы от ремня сделали Нику безбожником. Никина мать явно переусердствовала.

Две поповские семьи жили в каменном флигельке, позади церкви. Между домом и церковью был небольшой пролёт кирпичной ограды и ворота. Большой частью бывали заперты. Их распахивали только в пасху, когда совершали крестный ход. В будни открытой оставалась

калитка. Через неё жильцы из нашего дома ходили за водой, женщины в тазах носили на реку полоскать бельё.

Кроме главного входа с площади, в собор вела ещё одна дверь. Попам не нужно было выходить из двора, огибать церковную ограду – они попадали в храм через эту дверь. Я видел громадный ключ, который поп извлёк из-под своей чёрной рясы, чтобы отомкнуть врезной замок.

Никина затея была связана с риском. Вначале нужно разведать, не подкарауливают ли нас в кустах, не спрятался ли кто-нибудь за водосточной трубой. Мы отправились по тропе, которая вела мимо флигеля в калитку. Свою рогатку я сунул под рубаху. В другое время мы пробегали по этой дорожке по многу раз за день, не задумываясь и ничего не замечая. Сейчас всё стало достойным внимания. На вскопанной полоске земли рядом с тропою поднялись зелёные картофельные побеги. Их недавно окучили. Раньше здесь не было огорода и росла трава. Нынешней весной поповичи всей семьёй вскопали участок и засадили картошкой. Мы уже давно мечтали о том времени, когда её можно будет начинать подкапывать.

Из поповского флигеля постоянно разносилась запахи пищи. Особенно часто пахло рыбой, жареной на подсолнечном масле, луком, тёртою редью и квасом. Сейчас улавливался соблазнительный аромат ванили и пережжёного сахара. К нему примешивался горьковатый дымок сосновых шишек. Во дворике напротив открытого окна клокотал самовар. Вышла попадья с чайником в руке. Она нацедила в него кипятку и поставила сверху на самоварную трубу.

Время бить окна мы выбрали удачно. Нужно только дождаться, когда попадья отнесёт самовар в дом и поповская семья рассядется за столом.

Ника тихонько подтолкнул меня.

– Разобьём чайник, – прошептал он.

Мы забрались в кусты. Попасть из рогатки в чайник было не просто. Камни только отбивали кусочки наружной штукатурки на стене флигеля. Мы слишком торопились – боялись, что выйдет попадья и унесёт самовар вместе с заварником.

Но попадья не появлялась, вышли двое поповичей, видимо, брат с сестрою – одинаково белокурые и тонколицые.

Камень, пущенный из Никиной рогатки, скользнул по самовару. Медное пузо отозвалось глухим звоном. Мальчишка навострил лицо и догадливо уставился на кусты, за которыми мы притаились. Он наклонился и показал девочке рукой на дверь. Она спряталась за неё – выглядывал один нос да белый бантик в волосах.

Обломок кирпича прошуршал в ветках над нашими головами. Мальчишка снова наклонился.

– Бежим, – прошептал Ника.

Ничего другого нам и не оставалось. Девочка, наверно, уже нажаловалась отцу, и сейчас выбежит поп.

Я положил в кожаную серёдку кругляш и натянул рогатку. Мальчишкина голова поднялась над штакетником, в обеих руках у него по камню. Я наспех прицелился. Раздался глухой удар. Ника во все лопатки удирал к дому, я ненадолго замешкался в ветвистой чаше. Девчоночный визг полоснул меня – от внезапного страха онемели ноги. Белобрысая макушка поповича окрасилась кровью. Девочка бросилась к нему. Она разглядела меня и, крича что-то неразборчивое, бессмысленное, показывала рукой в мою сторону.

Мы с Никой спрятались на чердаке и просидели дотемна.

С утра я бродил по двору, издали поглядывая на флигель. Мне казалось странным, что там не происходит ничего особенного. Я ждал – вот-вот на легковой пролётке к церковным воротам прикатит самый знаменитый доктор, и попадья с расстроенным лицом выбежит его встречать. Но за окнами поповского домика сохранялось необъяснимое и пугающее спокойствие.

Вскоре на улицу вышли поповичи. Среди них был и мальчик с повязанной головой. Девочки по очереди прыгали через скакалку, мальчишки сидели на лавочке, переговаривались. Бинты были ослепительными и придавали мальчишке мужественный вид. Девочка, встряхивая огромными бантами, подходила к нему и что-то спрашивала. Мальчишка снисходительно улыбался ей. Втайне я завидовал ему: мне хотелось быть на его месте, сидеть под окошками флигеля с повязанной головой и делать вид, будто мне безразлично участие девочки с белыми бантами в волосах.

Мы с Никой надолго оставили в покое церковные окна и поповичей.

Ника научился утаивать копейки, предназначенные нищим, так что мать ни о чём не догадывалась. Сам он не покупал липучку, отдавал медяки кому-нибудь другому, чтобы купили. Съедал не на виду, а в укромном месте. Руки и губы после этого отмывал в ангарской воде.

Возможно, мать и подозревала его, но изловить Нику на месте преступления ей не удавалось.

То, что нищие потеряли часть своего дохода, было справедливо. В детстве я ненавидел и презирал нищих. В то время их было множество. Они не только осаждали церковную паперть – попрошайничали под окнами, сидели на тротуарах, поджав под себя босые ноги; их постоянно трясло и лихорадило, даже в тёплую погоду, нудными, тягучими голосами они вымаливали милостыню:

– Подайте, Христа ради.

– Пожалейте убогого.

Возле главных ворот в наш двор, где с началом рабочего дня беспрестанно сновали кабинетные люди с коленкоровыми сумками и скоросшивателями под мышкой, в тени забора устраивался один и тот же оборванец. Его скрюченная фигура, кепка, брошенная наземь, в которой напоказ лежало несколько монет, были так же привычны, как облупившаяся кирпичная арка над калиткой. Деревянные костили он подкладывал под себя. Он мог сидеть на них, не вставая, весь день. Медяки в его кепке прибавлялись медленно, большинство служащих прошмыгивало через калитку, не замедляя шага.

Всё же находились такие, кто подавал. Нас это выводило из себя: мы с Васькой знали, какой он калека.

Закуток между колокольней и церковной оградой, скрытый от кабинетских окон, бродячие собаки облюбовали для своих надобностей. С этой же целью в укромное место завёртывал нищий, когда ему становилось невтерпёж. В пазу между кирпичами, откуда выкрошился цемент, мы прятали медяки, которые изредка у нас случались. Дома надёжного места не было: Катька имела скверную привычку шарить по нашим карманам, когда мы спали.

Мы увлеклись и не слышали, когда окаянный нищий приковылял в наше убежище на своих костилях. Васька только что отколупнул мох из щели и выкатил на ладошку два медяка – наше общее богатство.

– Деньги! – неожиданно услышали мы голос.

Кудлатая голова нищего нависла над нами, глаза уставились на монеты. Бежать было некуда.

– Мои деньги, – заявил нищий.

От страха мы не посмели кричать. Уронив один костиль, нищий схватил пятерней Васькину руку. Тот не успел сунуть монеты за щеку.

– Воришки, – злобно прошипел нищий.

Васька скрчился от боли и разжал пальцы – медяки перекочевали в карман нищего.

План мести мы обдумали в тот же вечер. На другой день много часов подряд просидели в пустующей башне колокольни, поджидая своего обидчика. Расчёт был правильным: в обед он приковылял сюда. Он отложил костили и начал расстёгивать ремень.

Мы переглянулись и одновременно выскочили из засады. Схватили по костилю – и пустились наутёк.

В своём замысле мы не учли одного – оказывается, нищий вовсе не нуждался в костилях: они были у него для видимости.

Он настиг нас в несколько прыжков. Расправа была скорой и запомнилась надолго: жёсткие пальцы нищего выкрутили нам уши. Мнимый калека возвращался на своё место победителем, держа под мышкою оба костиля.

Неизвестно от кого об этой истории узнала баба Нюша. Любаясь опухшим Васькиным ухом, она позлорадствовала:

– Заработал, разбойник. Не так ешё надо было нажечь, Выдумали – обижать убогого.

Мы посмотрели самодеятельный спектакль. Больших клубов тогда не было, дневное представление давали в золототрансовской kontоре. Сцены не было – занавесом отдалили часть комнаты. Скамеек в зрительном зале хватило всем – устроились прямо на полу, вплотную к занавесу.

Спектакль я помню смутно. События происходили, кажется, в Италии. В пьесе участвовали революционеры и тюремщики, были заговоры и пытки...

Колышущийся занавес скрывал от нас последние мгновения, когда смелый карбонарий, только что бежавший из застенка, и его невеста с радостными возгласами кинулись в объятия друг другу.

Я бы и вовсе позабыл этот спектакль, как забыл многое другое, если, бы не Ритка.

Она собирала нас в своей кладовке. Мы рассаживались кто куда – на чурбаки, на перевёрнутый вверх дном дырявый таз, на сломанные козлы. И без того тесную кладовку с одной стороны занимала поленница колотых дров, с другой – всевозможная рухлядь, на гвозде висела оцинкованная ванна.

От напряжения по спине бегали мурашки. Кто-нибудь не выдерживал длинной паузы, подсказывал Ритке очередную реплику. Но она не нуждалась в подсказках. Ритка повторяла нам весь спектакль – одна изображала всех действующих лиц.

В конце она подносила к виску заряженный пистолет.

– Остановись! Не стреляй! – вскрикивал бежавший карбонарий.

Пустая ванна на стене дровяника заглушённым звоном отзывалась на отчаянный Риткин возглас.

– Предатели не имеют права на жизнь, – мужественно возражала героиня.

– Тебя обманули – ты никого не предала!

– О, милый! – выдыхала Ритка и роняла пистолет.

Мы ликовали и требовали повторить хотя бы самый конец. Одна Катька сохраняла поразительную трезвость.

– Всё равно у них там всё ненастоящее. Убивают друг дружку, а потом встают и кланяются. Артисты, – с презрением заключила она.

Мы злились на неё, хотя сознавали, что она права: на сцене всегда убивали понарошку.

Катька и про кино говорила, что там ничему нельзя верить. Если показывают пароход, так он из картона и не сам плывёт, а его тянут за шпагат. Но мы не соглашались.

– Такой большой пароход из картона не сделаешь.

Печатные рекламы, наклеенные на круглые афишные будки, зазывали на новые фильмы: «Скорый № 2», «Ледолом», «Старый завод», «Чёрный циклон»... Многие фильмы были только для взрослых, и нас не пускали. Из детских картин в памяти зацепилось всего одно название – «Федькина правда». Кажется, в этой картине и был тот злополучный пароход, про который Катька заявила, что он картонный.

Лучше всего запомнился эпизод, связанный с едою.

В далёком городе жили двое мальчишек, один из буржуйской семьи, другой из бедной. Первый страдал от обжорства, второй никогда не бывал сытым.

– Наверно, ребёнок болен. Он ничего не ел – отказался от шестого блюда, – сообщала няня родителям барчонка.

Едва эта надпись возникала на экране, зрительный зал взрывался от хохота и визга.

Вот если бы Катька сказала, что не бывает обедов из шести блюд, с нею бы никто не спорил.

В центре города открылся сказочный магазин. Нас с Васькой приворожил окорок, выставленный в витрине. Мы долго глотали слюни, глядя на него через стекло. Рядом толкались другие, незнакомые ребяташки. От окорока невозможно было оторвать глаз. Очереди у двери магазина не было. Никто не цыкнул на нас, когда мы прошмыгнули внутрь. Здесь и вовсе можно было изойти слюною: полки ломились от еды. Тут были и колбасы, и окорока, и масло, и сыры, и пряники, и конфеты... Броские этикетки на консервных банках сводили с ума.

Очереди не было и у прилавка. Чинная старушка в чёрном платке держала в руке пачку чая и внимательно пересчитывала гирьки, которые уравновешивали на весах несколько кусков рафинада. Других покупателей, кроме нас, в продуктовом отделе не было. Острый Васькин локоть пребольно вонзился в мои рёбра:

— Гляди!

Этикетки с ценами на колбасу, сахар, масло, консервы висели явно для обмана — не могло быть, чтобы все эти богатства стоили копейки.

Мы неслись домой, не переводя духу.

— Ма!.. Новый магазин. Всё есть. Без очереди... Сахар, колбаса... Окорок вот такой! — выпалил Васька, не отыгавшись.

У тёти Зины от смеха на глазах выступили слёзы.

— Так там же всё на золото продают, — объяснила Катька.

Одна только баба Нюша поинтересовалась, сколько стоит пачка чая.

Катьке, видимо, было ясно, почему в торгсинге есть всё и стоит дёшево. Но что означает звучное слово «торгсинг» — не знала и сама Катька. Оно так и остаюсь для нас нерасшифрованным, загадочным. Впрочем, тогда и другие магазины назывались непонятно: ЦРК, ЗРК. Но «торгсинг» звучало совсем иначе и сильнее тревожило.

Самой большою нашей мечтой было очистить торгсинговскую витрину. Но это намерение осталось невыполненным: опыта грабить у нас не было никакого.

Катька подсказала нам другую мысль:

— Нужно украсть золото.

— Где его украдёшь?

Она посмотрела на нас свысока, будто ей доподлинно было известно, где прячут золото.

Катька зазвала нас в тёмный чулан. В её глазах сверкали бесовские огоньки.

— Из чистого золота? — почти задохнувшись от восторга, спросил Васька.

— Из самого чистого, — заверила Катька.

— И на него дадут окорок?

— Три окорока, десять! Всё, сколько у них есть. На малюсенькое колечко вон сколько можно всего набрать — полприлавка, а в нём сколько таких колечков!

Катька раскрыла нам секрет: оказывается, кресты на куполах Старого собора отлиты из золота.

— Вы хоть одну лапу от него отпишите — три года сыты будем.

Не поверить ей было невозможно. Втроём мы обсудили, где спрячем золото и как будем расходовать его — | понемногу, чтобы нас не заподозрили. Катька обещала достать маленькую пилку, которой можно распилить любой металл.

— А золото в десять раз мягче.

Пилку она в самом деле раздобыла. Оставались пустяки — ночью забраться на верх церковной маковки и распилить крест.

Неизвестно, чем бы окончилась наша сумасбродная затея, не помешай нам Ритка: Катька не удержалась и проболталась ей.

— Умнее ничего не придумали! Попы не дураки, чтобы из золота кресты ставить. Их без вас бы стащили.

Последний довод отрезвил нас: в самом деле, будь кресты из золота, их бы давно украли.

Нам вообще жестоко не везло: ни один из наших проектов не был осуществлён.

На выщербленной стене под окнами золототрансовском конторы повесили плакат. Два большущих остроухих кролика дружно грызли сочную морковь.

«Одна пара кроликов за три года может дать потомство 2000 кроликов.

По вкусу и питательности кроличье мясо превосходит говядину.

Кролик нужен пятилетке!»

Цифры ошеломляли. Кролики, грызущие морковь, снились во сне. Я видел наш двор, наводнённый длинноухими зверьками. Они прыгали повсюду: позади каменного дома, позади церкви, в кладовках и на чердаках. Стоило только протянуть руку, поймать зверька за длинные уши – и у нас на столе будет мясо, которое по вкусу и питательности превосходит говядину. Овчинка стоила выделки. Всего-то нужно завести одну пару кроликов, и через три года их наплодится две тысячи!

К нашему удивлению, взрослые не проявили восторга, дать денег на покупку первой пары кроликов отказались наотрез.

– Будем каждый день есть мясо, – убеждал Васька.

– Раньше твои кролики нас самих съедят. Кормить чем будете?

Долгое время мы жили под впечатлением невероятного числа – 2000. Плакат кто-то содрал со стены, но цифры засели в уме.

В те годы вообще была особая любовь к большим числам.

Помню бесконечный обоз, запрудивший Семинарскую улицу. Впереди вышагивал здоровенный гнедой битюг. Он шёл, будто не замечая гружёной телеги, в которую был впряжен. Поверх дуги полоскалось алое полотнище.

«Даёшь чугун в счёт 10 000 000 тонн по плану!»

На могучей лошадиной груди, на холке, на крупе – всюду блестели надраенные медные бляхи. В гриву были заплетены разноцветные ленты. Возчики шагали возле подвод неторопливо. Телеги казались пустыми: на каждой лежало всего по несколько чугунных болванок. Лязг колёсных ободьев и цокот лошадиных копыт сопровождали это праздничное шествие. Густой от поднятой пыли воздух пах свежим навозом.

Орава любопытных мальчишек увязалась за конным обозом. С восхищением глазели мы на гравастых, украшенных лентами вороных, карих и серых битюгов, степенно вышагивающих посередине улицы. На время позабылась даже вражда с камнедомскими – мы все смешались в общей ребячей массе, счастливой и возбуждённой. Особенно ликовали те из нас, чьи отцы шагали в составе обоза. Да и всех нас распирало от гордости, словно мы сами помогали лошадям тащить гружёные подводы на товарную станцию.

Первый конь ступил на мост, подковы застучали по деревянному настилу. Мы остановились на берегу. Никто не хотел расходиться.

Свистки паровоза, который маневрировал у вокзала на Глазковской стороне, зычно разносились над Ангарою. Куцый дымок, отстав от паровозной трубы, медленно чах в прозрачном воздухе.

Мы дождались, когда задняя подвода миновала последний ponton и скрылась за поворотом. Интересно, зачем понадобилось так много чугуна? Мы в не состоянии были представить себе, сколько это будет – десять миллионов тонн. Наверно, подводы с этим чугуном могли бы сплошь запрудить все улицы Иркутска.

– Подумаешь Иркутск – в Москве не хватит улиц.

Насчёт Москвы Катька, пожалуй, приврала – она и в Иркутске не везде была и не могла знать, где именно кончается город.

В спор вмешалась тётя Зина:

– Не для этого чугун выплавляют, чтобы в Москве улицы перекрывать. Его не в Москву и повезут – в разные города, на заводы – трактора и машины делать.

Собственно, это было всего лишь вступлением к разговору между взрослыми за ужином. Ваське, когда он попытался сказать слово, тётя Зина погрозила пальцем. Катька и та прищурилась на него – она любила строить из себя большую.

Чугун и сталь, трактор и домна, пятилетка и обороносспособность были столь же привычными словами за нашим столом, как «самовар» и «заварка». Об этом же напоминали рисунки на тарелках и блюдцах: на них были изображены либо заводские корпуса, либо домна, либо трактор и комбайн, идущие по полю. Только старинный фарфоровый бокал – собственность бабы Нюши – украшали голубенькие незабудки.

В каменном доме на втором этаже открыли столовую. Обеды готовили для работающих в Золототрансе. Почти все мужики, жившие в нашем дворе, занимались подвозкою грузов на товарные склады. Риткина тётка и та кем-то работала в складской конторе.

Тётя Зина, до этого служившая посыльной на телеграфе, перешла работать в столовую. Дела у Жердиных сразу пошли на поправку: столовая для них оказалась сущим кладом. Сама тётя Зина сытая возле котла, а свою порцию приносила домой. Катька приходила помогать матери мыть посуду, чистить картошку, так что и ей тоже перепадало – миска супа или порция каши с подсолнечным маслом.

Вечером, возвратившись из столовой, тётя Зина устраивала себе короткий отды.

– Теперь хоть немного вздохнуть можно, – блаженствуя и млея после вечернего чая, говорила она. На её лице появлялась спокойная улыбка. Казалось, ещё немного – и она уснёт за столом. Но тётя Зина не позволяла себе нежиться подолгу. – Кончай шабашить!

Работы у них с Катькою было невпроворот. С утра до ночи на кухонной плите кипело и прело в тазах и ванне. Запах распаренного белья и мыла пропитал каждую щёлку в нашей квартире. Тётя Зина с Катькой перестирывали горы чужого белья – пластились с ним до ночи. Без этого приработка Жердины ни за что не смогли бы сводить концы с концами.

Катька таскала вёдрами на коромысле воду с Ангары. Васька и Вовка попеременно отбывали очередь, сторожа развесанные на верёвках наволочки и простыни. Коромыслом Катька натирала мозоли на ключицах и подолгу не могла заснуть от боли.

После того, как тётя Зина перешла в столовую, Катькина участь немного облегчилась: теперь можно было приносить горячую воду из большого кухонного титана. Втрое ближе, чем с Ангары. К тому же меньше приходилось шуровать плиту – выходила экономия на дровах.

Получать обед ходил Васька. Мне было любопытно своими глазами увидеть столовую, надышаться сытными пахами, поэтому я несколько раз поднимался наверх с Катькой. У двери сидела дежурная, следила, чтобы никто не вынес из столовой посуды. Стояли два ящика: и одном – мытые ложки, в другом – грязные. Каждый, кто выходил, на виду у дежуркой должен был опустить в ящик ложку. Она служила вместо пропуска.

Ваське чистая ложка не нужна – он брал из ящика, где лежат грязные. Дежурной безразлично обедал Васька или не обедал, – на выходе предъяви ложку. Я оставался ждать на лестничной площадке. Грузчики в широченных шароварах проходили мимо. И всякий раз, когда открывалась дверь, меня обдавало запахом столовского супа; я сглатывал слюну и крепче стискивал лестничные перила.

Васька ногой распахнул дверь. В одной руке у него судок, накрытый алюминиевой миской, в другой – грязная ложка. Он показал её дежурной и метнул в ящик – слышно было, как она звякнула.

По лестнице мы мчались наперегонки. Внизу, воровато оглядевшись, Васька показал мне спрятанную в рукаве ложку.

– Я ей заместо ложки ржавый гвоздь бросил, – похвастался он.

Ликовал он напрасно. В тот же вечер ему крепко досталось от матери. Увидев столовскую ложку, тётя Зина переполошилась. Васька сознался в воровстве. Злосчастную ложку, дождавшись темноты, Катька зашвырнула подальше в Ангару, чтобы и духу её не было.

– Увидят у нас, подумают, мы воруем.

Несмотря на строгую пропускную систему, посуду из столовой ухитрялись растаскивать – каждый день чего-нибудь недосчитывались.

На другой день мы напрасно пытались разглядеть на дне реки алюминиевую ложку – Катька постаралась закинуть её далеко от берега.

Васька уверял: если осушить Ангару, со дна можно насобирать уйму полезных вещей, не говоря уже о деньгах.

– Знаешь, сколько в неё одних медяков и серебрушек набросано!

Я верил ему. Но осушить Ангару было не в наших силах. Несметные богатства на её дне до сих пор лежат нетронутыми.

В подсобном хозяйстве конного парка забили корову: у неё пропало молоко. Часть мяса отдали в столовую. Мясные обеды готовили только для ударников производства. Супы, которые приносил из столовой Васька, были по-прежнему постными. Тётя Зина негодовала:

– Откуда в столовой станешь ударницей? Если бы я на стройке работала или на погрузке – другое дело.

Вдвоём с Катькою они придумали хитроумный план. Урвать немного мяса от общего котла было не сложно, главное – вынести его из столовой. Вот тут-то и понадобилась Катькина помощь. К тому, что девчонка постоянно ходит в столовую за горячей водой, во дворе привыкли – не обратят внимания. Если мясо просто положить в ведро, кто-нибудь встретится и увидит. Вёдра, накрытые сверху, вызовут подозрение. Решили так: Катька нарвёт во дворе крапивы, под крапиву спрячет мясо и зальёт кипятком. Если кто встретится, Катька объяснит: пареная крапива нужна бабе Нюше накладывать на больную поясницу.

Замысел был превосходный, но бабу Нюшу в это дело впутали напрасно – после пожалели. Полутёмную лестницу Катька миновала благополучно, никого не встретив. Ведёрная дужка резала оттянутые пальцы. Катьке приходилось менять руку и останавливаться. В это время чёрт пригнал Коломейчиуху. Катька так и рассказывала:

– Гляжу – Коломейчиуху чёрт гонит.

Наверно, и в самом деле не обошлось без чёрта: от коломейцевской старухи было не так-то просто отделаться. Ей бы только поговорить. Первым делом сунула в ведро свой вороний клюв. Катька обмерла. Но, видно, у Коломейчихи нюх отшибло, да и запах крапивы перебивал мясной.

– Кому это ты крапиву?

– Бабе Нюше на поясницу. У неё сильно ломит – и подняться не может, – как затверждённый урок, выложили Катька.

Коломейчиуха этого только и нужно. Все средства от болей в пояснице были известны ей наперечёт.

– Да кто ж это подсказал ей? Разве по осени крапива? Её в начале лета надо нарвать, тогда крапива. Сейчас одни дудки да колючки. На троицу надо срывать. Так и скажи ей. А и не надо, не говори – вечером сама загляну. То-то думаю: чего это Нюра давно не наведается? Запах разопревшего мяса явственно почудился Катьке, она схватила ведро и припустилась бежать. Коломейчиуха вдогонку что-то наказывала ей.

Катька радовалась, что легко отделалась от старухи, но тётя Зина рассказ встревожил не на шутку. Бабу Нюшу необходимо было приготовить к встрече с Коломейчиухой. Если она ляпнет, что ни о какой крапиве не слышала и на поясницу, слава богу, не жалуется, Коломейчиуха смекнёт, что дело неладное, и завтра же разнесёт о своих подозрениях по всему двору.

Разговор с бабой Нюшой состоялся в её комнате. По-видимому, тётя Зина думала, что их голоса не будут слышны через стену. Вначале разговаривали шёпотом, потом тётя Зина первая начала поднимать голос:

– Я, Нюра, тебе о деле говорю. При чём бог? Бога твоего не задеваю.

– А при том: сама согрешила, а меня подбиваешь солгать.

– Согрешила, согрешила! – рассердилась тётя Зина. – В святые хочешь попасть? Ради кого согрешила? Пятеро на руках. Не вспомнить, когда последний раз мясо пробовали. Был бы твой бог, допустил разве такое, чтобы дети с голоду пухли?

– О боге вспомнила, бог виноват стал! Сама же в безбожницы записалась. Может, рассчитывала, безбожникам на карточки прибавят? Вот у них, кто тебя от церкви отвадил, и спрашивай мяса – пусть они кормят твоих пятерых. Раньше-то, при боге, сыты были.

– Кто сыт, а кто и нет.

– Зато теперь все голодные – не обидно.

– Ну, это не наше с тобой дело обсуждать. Есть люди поумнее.

– Чего ж они, умники, о твоих не заботятся?

– О каждом в отдельности думать – никакой головы не хватит.

– Так для кого же тогда новую жизнь собираетесь делать, если не для каждого?

– Для всех. Посмотришь вот, как заживём лет через пять.

– Другой кому через пять-то лет показывай – не доживу.

– Все бы работали, как нужно, не через пять – раньше зажили бы. Привыкли по старинке.

– Какое уж по старинке.

– Ну, хорошо. Чего это мы в сторону заспорили. Согласна: бог не виноват – сама наплодила ораву, винить некого. Я ведь тебя не украдь, не убить подбиваю. Скажешь: просила, мол, крапивы напарить. Не убудет от тебя, а меня выручишь. Раньше ведь ни в чём я не была замешана. Вот как на духу. Для себя ни крошки бы не взяла – пропади пропадом ихнее мясо. Думаю: ребята-то чем виноваты? Пусть хоть раз поедят. Всё равно другие тащат. Не я, так Верка косоглазая утянет для ухажёров своих. Так чем для её кобелей пойдёт, пусть дети наедятся. Страшно: что теперь обо мне скажут?

– Безбожница, а самой стыдно! – торжествовала баба Нюша. – В бога не веришь, откуда стыд? Раз не веришь, так и стыдиться нечего.

– Людей стыдно.

– Ты от него отступилась, а он помнит, не оставил тебя, Стыдом о себе напомнил. Радоваться тебе надо – стыд пробудился, – продолжала баба Нюша своё.

– Да-да, стыдно! – почти выкрикнула тётя Зина. – Только не бога – людей! Бог, если и есть, – далеко, а с людьми в одном дворе жить.

– Так ведь люди-то не знают ещё ничего, а тебе уже стыдно. Щёки вон – ткни, и лопнут. Нет, Зинка, не с твоей совестью в безбожницах ходить. Шла бы в церковь.

Нужно было выручать тётя Зину из беды. Мы решили подкараулить Коломейчиху, когда она направится в наш дом, и чем-нибудь отвлечь её, чтобы позабыла, куда шла. Сказать, например, что к берегу пристала баржа, в которой везут живых верблюдов. Или нет – верблюдами её не завлечь, – лучше сказать, что на берегу под церковными окнами расположился цыганский табор. Уже на цыган-то она захочет посмотреть. Пока сообразит, что её одурачили, забудет про бабу Нюшу.

И всё-таки мы проморгали старуху. Не сводили глаз с каменного дома – Коломейчиха жила там, – а нагрянула она с другой стороны, из поповского флигелька.

Коломейчиха пришла вовремя, баба Нюша как раз напарила свежий чай, и они надолго устроились за кухонным столом. Мы вертелись тут же и настороженно прислушивались к разговору. У кухонной плиты суетилась соседка, готовила ужин к приходу мужа с работы. Катя примостилась в углу, на лавке. У неё всё готово, но она не начинала стирку – тоже боялась упустить, когда Коломейчиха задаст бабе Нюше каверзный вопрос про крапиву. Тётя Зина с разрумяненными щеками мрачно поглядывала на бабу Нюшу, которая как ни в чём не бывало пошвыркивала из блюдечка настоящий чай. По её лицу никогда нельзя угадать, что у неё на уме. Сморщеные тонкие губы всегда образовывали одинаковую складку. Складка могла быть предвестием и доброй улыбки, и гнева, заранее понять это было невозможно. В другое время тётя Зина давно бы прикрикнула на нас:

– Вы чего под ногами мешаетесь? Марш на улицу!

Сейчас ей не до нас. У неё и шея, и спина, и руки, и оголённые плечи сплошь покрылись багровыми пятнами.

Вначале разговор шёл стороной.

— К матушке Никулине, к попадье, ходила, ладану просила — зубы измучили. Ладаном только и спасаюсь.

В ответ баба Нюша сочувственно покачала головой.

— Слышала, милочка, говорят: Тихвинский собор взрывать будут.

— Господь не допустит!

— Господь не допустит, — вздохнула Коломейчиха.

В другое время тётя Зина непременно вступила бы в спор, а сейчас будто и не слышала ничего. Я уже думал, Коломейчиха забыла про крапиву, но не тут-то было.

— Что у тебя с поясницей? — вспомнила она.

Катька застыла с открытым ртом, неловко, на отлёте держа перед собою мокрые руки. Выше локтей на них висели мыльные хлопья. В закатном свете прозрачные пузыри вспыхивали разноцветными огоньками. Пена медленно таяла, и крохотные огоньки на Катькиных руках гасли один за другим. С лица тёти Зины склынули алые пятна, пересохшие губы помертвели. Мне показалось — время ненадолго остановилось.

Голос бабы Нюши раздался спустя вечность.

— Да вот, среди ночи вчера будто укололо, — пожаловалась она.

Голос у неё переменился, сделался страдальческим, рука легла на поясницу, и сама баба Нюша будто переломилась от боли.

— Ай-яй-яй! — посочувствовала Коломейчиха. — Говорила тебе; добегаешься в одном платынице. Куда уж нам с молодыми равняться.

Лицо тёти Зины оттаяло, на оживших губах обозначилась смущённая улыбка. Баба Нюша нарочно избегала встречаться с нею взглядом. Она совсем вошла в свою роль:

— То кольнёт, то отпустит. Потом снова скрутит — сердце обомрёт. Думаю: отмучилась.

Тётя Зина отпустила Катьку:

— Отдохни. Наработалась сегодня.

Под мощными руками тёти Зины мокрое бельё хлюпало и трещало на железных рёбрах стиральной доски. Баба Нюша долго ещё расписывала Коломейчихе про боли и колотье в пояснице.

Событие было не пустяковым, и разговор на кухне, даже и после того как выпроводили Коломейчиху, долго не затихал. Баба Нюша, правда, ушла спать, но к этому времени с работы возвратилась наша мать. Она воспользовалась тем, что плита была горячей, сварила картошку и накормила нас. Большой кухонный стол, добела скобленный ножом, был любимым местом вечерних сборищ в нашей квартире — места за ним хватало всем.

— Ой, Шура, ты и не знаешь, как она выручила меня сегодня, — в который раз начинала рассказывать тётя Зина, обращаясь к нашей матери. — Беду отвела. В чём другом — в воровстве никто из Жердиных не был замешан. Сколько на Нюру злилась из-за иконы — боялась, что с работы невзначай нагрянут, увидят. После разговору не оберёшься: «Одну старуху не можете перевоспитать». А тут, не поверишь, всё ей простила.

— Что с неё спросишь, Зина. Я и то уже привыкла к этой иконе. Ночью разбужусь — она перед глазами. Пускай висит, если она ей утешение даёт.

— Да чего уж там. Сами давно ли в церковь перестали ходить, — сказала тётя Зина.

— Я пораньше тебя, — напомнила мать. — Как раз он родился, — кивнула она на меня, — не знала сама: крестить или не крестить. Ты же толкала меня: «Сноси в церковь, окреши — хуже не будет».

Тётя Зина рассмеялась. Я навострил уши: оказывается, дело касалось и меня.

Хорошо, что этого не слышала Катька — она так умаялась, что давно спала. Она бы уж постаралась, растрезвонила по двору:

— А Серьга-то крещёный!

К тому времени, когда я родился, мать уже перестала верить в бога. Но на неё насыли знакомые и даже вовсе посторонние. Уговорили мать.

Получалось, что Никина тётка, живущая где-то на окраине, изредка навещавшая свою родню, была моей крестной. То-то она всякий раз, когда появлялась в нашем доме, непременно разыскивала меня:

– Взглянуть бы на него хоть одним глазком.

Я и прежде избегал её, а теперь и вовсе постараюсь не попадаться ей на глаза.

В историю, которую я услышал за кухонным столом, меня утешало только одно: я не был на церковном причастии. Как я понял из разговора взрослых, это делало меня не полностью крещёным. Но всё равно лучше, чтобы во дворе ничего не узнали, а то пацаны задразнят. В конце августа Ритке исполнилось четырнадцать лет, и тётка подарила ей свои туфли. Сама она уже давно из-за мозолей носила мягкие чувяки и унты. Туфли были совсем ещё целые, пришлось только подбить каблуки. В тот же вечер Ритка принесла к нам обнову – похвастаться перед Катькой. Туфли по очереди примеряли все: и Катька, и тётя Зина; баба Нюша и та попыталась всунуть ноги в туфли.

Ритку словно подменили. На другой день вдвоём с Катькой они заперлись в чулане и долго секретничали. Катька выглянула из двери, таинственным шёпотом приказала:

– Посмотрите, не видать ли тёти Веры?

Потом вышла Ритка. Её невозможно было узнать. Мы и не подозревали, что с помощью тюбика губной помады, украденного Катькой у матери, зубного порошка и чёрного карандаша из рисовального набора можно так преобразиться. Тёtkины туфли, белая отутюженная кофта и тёмно-синяя юбка довершали перемену. Риткино лицо, скованное слоем краски, потеряло способность улыбаться. Из-под жгучих бровей испуганно и удивлённо смотрели большие глаза. Ритка крадучись вышла из дома, рысцой прошмыгнула в калитку на задах церкви – здесь меньшее было риску нарваться на тётку.

В тот день камнедомские ребята навязали нам драку. Никогда раньше не терпели мы такого сокрушительного разгрома. Камнедомские до самого вечера не давали нам высунуть носа во двор. Сняли осаду, когда самим надоело держать нас взаперти.

Будь с нами Ритка, такого позора не произошло бы. В этот раз не поддерживала нас и Катька. Она вообще не была любительницей мальчишеских драк, была трусиха, но прежде помогала нам, подражая Ритке.

Поздно вечером, подавленные, собрались мы на поленнице, пристроенной возле кладовок. Торжествующий Щепа в окружении своих сидел на каменной скамейке под окнами конторы Золототранса. Нас разделяла громадная пустота двора.

Камнедомские дразнили нас. А нам нечём было крыть – приходилось отмалчиваться. Камнедомских было вдвое больше, чем нас. Мы могли рассчитывать только на будущее, когда к нам снова вернётся Ритка.

Видно, надежды наши были напрасными. Вскоре появилась Ритка и на виду у всей вражеской армии пересекла двор. Она должна была слышать, как камнедомцы нас поносят. Но она как будто ничего не слышала. До нас ей тоже не было дела, мы для неё перестали существовать.

Она даже не вытерла краску с губ и бровей. Наверное, позабыла про неё. Её лицо вновь обрело свойство улыбаться, но эта улыбка не имела ничего общего с улыбкой прежней Ритки – нашей атаманши.

Васька наклонился и поднял с земли камень. Рита, почувствовав недоброду, оглянулась. Васька замахнулся и приготовился улепёстывать. Связываться с Риткой было небезопасно. Мы ожидали, что она кинется на Ваську, но вместо этого бесстрашная Ритка сама пустилась наутёк. Только крикнула:

– Посмей вот у меня, посмей!

Несколько камней одновременно полетели ей вслед. Ритка спасалась от нас бегством.

Мы разошлись по домам в скорбном молчании.

Была ранняя осень. Лиственница в церковной ограде едва начала желтеть. Гроздья волчьей ягоды ядовито полыхали среди побуревшей листвы. На берегу перед церковью разгружали сено. Его привозили на баржах с низовий Ангары. Прессованные тюки, перетянутые

проводили, складывали в высоченные штабеля. Горы сена совсем отгородили от нас берег, остался только узкий проход, чтобы можно было ходить на реку. Баржи несколько дней стояли у берега. Стальные тросы, причаленные за вкопанные сваи, удерживали их, напором и течения выструнило канаты.

Мы с Васькой содрали проволочную оплётку с одной связки сена и, спрятавшись на заднем крыльце церкви, решали, на что её можно употребить. Здесь было укромное место, видеть нас могли только из поповского флигеля. Одуряющий запах полыни, которая росла в ограде, смешивался с лекарственным настоем пырея, душицы и луговых цветов – ими пахли растрёпанные тюки сена.

Нам почудился Риткин голос.

Мы вскарабкались на ограду. По тротуару со стороны угольного причала бежала Ритка. За нею гналась орава пацанов во главе с Хомяком. Они свистели и улюлюкали. Вслед Ритке летели камни. Вступиться за Ритку было некому: взрослых на набережной не было.

Ритка уже достигла было спасительной калитки, но внезапно споткнулась и во весь рост растянулась на тротуаре. Её подвели туфли – каблук засел между гнилыми лежнями настила, который не обновлялся со времён, когда по нему ходили ещё семинаристы. Колька настиг её первый и, торжествуя окончательную победу, далеко отбросил свалившуюся с Риткиной ноги туфлю. Остальные пацаны держались в отдалении. Колени у Ритки были ободраны в кровь. Ей хотелось заплакать, но ока крепилась. Колька изловчился, сдёрнул с Ритки вторую туфлю и зашвырнул в другую сторону.

Ритка вскочила на ноги и влепила Хомяку пощёчину. Сама зажмурилась от страха. Колька ударил её кулаком – у Риты качнулась голова.

– Дурак! Дурак! Дурак! – мгновенной очередью выпалила она.

Хомяк бил её по щекам, и она даже не защищалась. Продолжала твердить:

– Дурак! Дурак! Дурак!

– Сама дура. Сама дура. Сама дура, – в такт пощёчинам приговаривал Колька.

Наблюдать равнодушно, как избивают нашего недавнего атамана, мы не могли и перевалились через забор. Ни Рита, ни Колька не обратили на нас никакого внимания.

– Перестань! – я замахнулся на Хомяка камнем.

Колькины пальцы клещами перехватили моё запястье – я выронил камень. От боли потемнело в глазах. Меня выручил Васька – он хрястнул Хомяка обломком кирпича между лопаток. Колька кинулся за ним. Васька шмыгнул в калитку, но вместо того, чтобы бежать к дому, повернулся в сторону церкви – хотел по водосточной трубе залезть на крышу. Хомяк поймал его за голую пятку и сдёрнул со стены, как козявку. Зажав Васькину голову между коленями, начал остервенело лупить его. Васька захлёбывался от крика. Колька бил, не щадя своих ладошек.

– Подлец! Отпусти! Сейчас же отпусти!

Накрашенный Риткин рот перекосило от страха. На стиснутый кулак она намотала конец проволоки, которую мы бросили возле ограды. Страх чуть не выворотил Колькины глазища из впадин. Он оставил Ваську и пустился бежать. Проволочная плеть просвистела над ним.

– Я тебе покажу, как маленьких бить!

Похоже, Хомяк летел по воздуху – подошвы его ботинок едва успевали сверкать.

Рита отшвырнула завизжавшую проволоку. Вокруг её руки красными полосами горели следы оплётки.

– Я тебе покажу, как маленьких бить! – ещё раз негромко пригрозила она вслед исчезнувшему Кольке.

Орава пацанов, которые недавно преследовали Ритку, бесследно растаяла.

Слёзы высыхали на Васькиных щеках.

Я сбежал за ворота и отыскал Ритину туфли.

Тогда и Рита неожиданно заплакала, судорожно всхлипывала и глотая слёзы. Мы растерянно молчали и старались не глядеть на своего плачущего атамана.

– Он сильно тебя ударил? – спросил Васька.

– Славные вы мои мальчишки...

Рита сгребла нас обоих в охапку и по очереди начала чмокать в щёки. Мы брыкались и старались увернуться от её накрашенных губ. Потом она опустила нас на землю и стала вытряхивать из туфель песок и камешки.

– Вчера тебя не было, – камнедомские раздолбали нас – пожаловался Васька. – Ты больше не будешь с ними?

– Буду! Обязательно буду.

Из рукава кофты Рита достала осколок зеркала, завёрнутый в носовой платок. Долго, придирчиво разглядывала своё лицо. Послюнила платок и со злостью начала вытираять краску.

К дому она шла босиком, держа туфли в руке. Спустя час Рита снова появилась во дворе. На ней было её старенькое платье и мальчишеские ботинки с истлевшими союзками.

Мы отомстили за вчерашнее поражение. Хомяк не ввязывался в сражение, только подсказывал своему Щепе и презрительно ухмылялся, наблюдая за Риткой. Сама она никого не тронула, но отважно лезла под камни, которые летели в нашу сторону. Наверно, поэтому её и боялись.

Незаметно я обогнул запущенный храм. Просвирная, стоявшая на углу, почти вросла в землю. Вдоль набережной была проложена асфальтированная колея. Берег укрепили насыпью из галечника.

Когда-то здесь был глинистый обрыв. По нему наискось были протоптаны спуски. По ним ходили за водой с вёдрами и коромыслами. В старину правый берег реки укрепили частоколом из толстых свай. Они оберегали городскую сторону от размыва. В пору моего детства защитная дамба ещё существовала и назначение своё выполняла. Столбики, правда, большей частью были затоплены, но в прозрачной воде их хорошо было видно – они сплошь обросли густой зеленью, которая делала их осклизлыми.

Прежде на набережной стоял каменный флигелёк, в нём жили поповичи. За ним тянулась побелённая кирпичная ограда, заросшая травою.

Теперь здесь не было ни ограды, ни поповского флигеля. Позади Старого собора, фасадом к Ангаре, стоял пятиэтажный дом. Судя по виду, его построили в середине пятидесятых годов. Тогда ещё не пришли к постной симметрии домов-коробок с балкончиками. Впрочем, дом этот сравнительно с другими, которые ставили в одно время с ним, украшен был скромно, без крикливости. Но и сама эта скромность была заимствованной: на противоположном углу квартала сохранился давний корпус семинарии – с его фасада и взята форма окон и пиластры.

У пятиэтажного дома было ещё одно назначение – он прикрывал собою уродливые тылы хлебозавода с множеством труб самого разного охвата, торчащих над крышами цехов, выпирающих из окон.

Я постоял на берегу, не решаясь идти дальше – боялся увидеть пустоту на месте деревянного дома, который стоял здесь в тридцатых годах, последний раз я видел его лет шесть-семь назад. Дряхлый бревенчатый остов уже тогда подпирали столбы, северная стена почти сгнила и угрожала развалиться. Тогда я подумал, что старому дому недолго осталось ждать очереди на слом.

Но я ошибся – двухэтажный дом был на своём месте. Его подновили, убрали подпорки, обшили тёсом и покрасили.

Мне приходилось напрягать не столько память, сколько воображение, чтобы мысленно увидеть свой старый двор. Неужели и длинный ряд кладовок, и крапивный пустырь, и заросли бузины, и полоса вскопанной поповичами земли – весь прежний мир размещался на крохотном пятаке, где сейчас разбит сквер, детская площадка и притулились несколько гаражей для легковых автомобилей?

Заднее крылечко у второго прируба к двухэтажному дому показалось мне совсем низким – тридцать восемь лет назад его ступени были много выше нынешних. Витька, даже когда сидел на нижней, едва доставал ногами земли.

Той осенью мне повезло: на медицинском осмотре в школе у меня определили острое малокровие и я получил назначение на дополнительный обед при детской поликлинике. Она находилась неподалёку от телеграфа на бывшей Баснинской улице. Обеды были из трёх блюд: суп, каша и компот или же борщ, каша и молочный кисель. Кормили бесплатно и к тому же сверх нормы. Плохо было одно – всего давали понемногу, не досытая.

Смена, в которую я попал, ела в два часа. В столовую я мчался сразу после уроков. Первое время, пока держалось тепло, за мной увязывался Витька. Я боялся опоздать и всегда приходил задолго до своего часа: за столами ещё сидела первая очередь.

Мы с братом устраивались под окнами. По запаху, который шёл из форточки, можно было определить, что на обед. Вскоре возле столовой собиралась вся наша смена. Вот уж где были чистые шкилеты!

Витька оставался ждать меня под окнами. Я всё время помнил о нём – о том, что он сидит на каменной приступочке и запахи овсяного супа и пшённой каши терзают его. Я запихивал в карман половину хлебной майки и старался забыть про неё. Мучительнее всего было ждать, когда разнесут первое, – поневоле начинал по крошке отщипывать из кармана.

Посредине просторной комнаты стояли два длинных тесовых стола, накрытых клеёнкой, по обе стороны столов такие же длинные скамьи. Не знаю, сколько нас помещалось в одну смену – наверно, человек по тридцати за каждым столом.

Когда я выходил, ко мне тут же кидался Витька. Я вытаскивал из кармана кусок хлеба – всё, что удавалось сберечь от обеда. Чтобы не растерять крошек, Витька сразу запихивал его в рот. Мы шли домой, и Витька расспрашивал меня, что давали на обед. Он говорил с набитым ртом, нельзя было разобрать ни слова, но я всё равно догадывался.

- Суп с макаронами и пшённая каша, – отвечал я на невразумительное Витькино мычание.
- Много аши? – выпытывал Витька.
- Полная поварёшка.
- С е-хом? – Витькины глазищи сверкали от восторга.
- С верхом, – увлечённо врал я.
- А-сло а-ло?
- Большая ложка масла.

Витька выпучивал глаза. Я показывал ему, каких несуществующих размеров была ложка, которой зачерпывали масло. Такой же огромной в моём рассказе оказывалась и поварёшка, и тарелка, и чашка, в которую наливали кисель... А макаронины в супе были толщиной в руку.

И мы оба верили всему этому.

Потом наступили жестокие морозы. Витьке пришлось оставаться дома: в своих опорках и реденьком ватнике он мог бы окоченеть под окнами столовой.

Не знаю, через кооператив или через наших шефов, но в школу поступила детская обувь. Вначале распределяли её между классами. Нашему перепало две пары ботинок с галошами и одни ичиги. Делить их созвали родительское собрание. Оно затянулось до полуночи. Прежде всего решили не давать в одни руки и ботинки и галоши: слишком жирно будет. Можно обеспечить двоих одному ботинки, другому галоши. Главный спор возник, когда стали определять, кто из класса нуждается больше других. Самых неимущих было шесть человек. Остальные обеспечены лучше, о них должны позаботиться родители.

Я стал обладателем новых галош. Ичиги достались Ваське Жердину. Получалось, что наша квартира обогатилась больше всех. У Жердиных была одна пара стоптанных и на три ряда подшитых валенок. Они остались ещё с той поры, когда в доме жив был Васькин отец. Это были его валенки. Теперь их посменно носили Катька с тётей Зиной. Другой тёплой обуви в доме не водилось, так что ичиги пришлись очень даже кстати. Правда, вначале Васька на них и глядеть не хотел.

- Скажут – чалдон.

Но когда дело дошло до морозов, Васька оказался в выигрыше. Мои ботинки, привезённые ещё с прииска, даже с новыми галошами грели мало. А в ичиги можно было намотать

несколько пар портнянок. Пока я бежал до школы, пальцы успевали окоченеть, казалось, стукни невзначай по ноге – и отломятся. Вастька не отставал от меня: ичиги ичигами, а одежонка на нём была не жарче решета, как говорила баба Нюша. В школу и из школы мы неслись с ним наперегонки.

В ту зиму я усвоил одну простую истину: чтобы ноги быстрее отошли, нужно разутсяся, сразу как попадёшь в тепло, а не отогревать их в обуви. Впрочем, открытие я сделал не сам, мне подсказала его Ритка.

Зиму она пробегала в тех же ботинках, какие носила летом. Может быть, поэтому и повадилась каждый вечер в нашу квартиру. Для этого нужно всего лишь перебежать из одних сеней в другие – не обморозишься.

Была и ещё одна причина, почему вечерами чаще всего собирались у Жердиных, – отсюда никто не прогонял, как у других. В квартире собственный рёв и гвалт никогда не умолкал, так что чуточку больше или меньше шума – заметно не было. Разве что баба Нюша поворчит немного, если она не в духе:

– Опять насорили.

Да и то напрасно. Ритка всегда помогала прибрать: подметала и даже мыла полы.

Ритка ходила в седьмой класс, а по-прежнему водилась с нами. Катька всего-то в пятый перешла, а нос задирала, как будто была уже взрослая. Она даже Ритку осуждала, правда, за глаза:

– Дылда. Ей скоро замуж, а она с мелюзгою возится.

Катька взяла привычку на нас покрикивать, но мы не обращали на неё внимания, права командовать нами за ней не признавали. Ей приходилось обращаться за помощью к Ритке:

– Уйми своих партизан – посуду перебьют.

Ритку мы слушались. Без неё мы обалдели бы от скуки. Она затевала игры, в которых участвовали все, даже Нинка, хотя той не было ещё и пяти лет.

До середины января никакие морозы не могли сковать Ангару. По чёрной воде долго плыла шуга, полз туман. Кромка ледяного припая медленно продвигалась от берега. Мы старались не прозевать ледостав, каждый вечер выбегали на Ангару послушать, как, наползая одна на другую, хрустят и стукаются льдины.

И всё же самого интересного мы не увидели. Ангара стала ночью. Утром тумана не было, в прозрачном воздухе отчётливо виднелся другой берег и дальние горы. На реке в загадочном беспорядке громоздились застывшие торосы.

Из-за них зимою на Ангаре негде было кататься на коньках. Меньше всего торосов было напротив триумфальной арки. В конце зимы, когда немного потеплело, мы расчистили там площадку, устроили каток. Лёд на Ангаре держался до апреля. На берегу давно уже чернели проталины, а на реке можно было кататься.

Делать это было опасно: тёплые сточные воды из Курбатовской бани пропарили к этому времени лёд, он стал ненадёжным и тонким, прогибался и жутко постреливал. Но риск только повышал удовольствие. Хотелось вдосталь накататься до будущей зимы.

Ника не разогнался как следует – лёд под ним треснул и проломился. Никин вопль, казалось, врезался в мозг, минуя барабанные перепонки. Поверх льда торчала одна его голова и руки в вязанных варежках. Смотреть в ошалевшие Никины глаза было непереносимо. Варежку с одной руки смыло водой – она ещё не набухла и плавала тут же поверху. Пальцы Ники скользили по льду – ему удалось вцепиться в трещину, это и спасло его. От страха он не мог кричать, только смотрел на нас. Мы оторопели.

Не окажись поблизости Риты, это купание могло стать для Ники последним. Только она одна не потеряла головы.

– Доску!

Мы сразу поняли её. На берегу возле сточного канала неизвестно для какой надобности с осени был свален тёс. Доски накрепко смёрзлись друг с другом. Не представляю себе, как нам удалось отодрать одну из них и пихнуть под обрыв. Но проделали мы это мгновенно.

Рита по льду направила нижний конец плахи в сторону, где виднелась Никина голова.

Вода наплывом выхлёстывала из пролома, заливала побелевшие Никины пальцы. Рита, двигая перед собой доску, ползла на выручку. Лёд со стоном потрескивал под нею.

Ника хотел ухватиться за конец доски, но пальцы соскользнули. Рита быстрым толчком, распластавшись на льду, подкатилась к полынью, успела схватить рукав Никиной куртки, когда вода уже накрыла его с головой.

Потом оба они долго отдыхали наверху, лёжа поперёк доски. Вода разливалась поверх льда всё шире, мелкие волны заплёскивались на тесину.

Рита пропустила Нику вперёд и помогала ему ползти, подталкивая сзади. Он бессмысленно улыбался и щурился от слепящего весеннего света, отражённого ноздреватым льдом. Ватная куртка на плечах и спине оледенела и скоробилась. У берега мы подхватили его под руки и затащили на откос.

Рита второй раз поползла к месту, где из-подо льда клокотала тёмная вода. Никина варежка приморозилась, выхлёстывавшие из пролома волны не смыли её. Рите удалось спасти и варежку.

Вода стекала с Никиных штанов, валенки пропитались ею. Без нашей помощи он не мог сделать ни шагу. Он не переставая смеялся взахлеб, и слёзы катились из его глаз. Кто-то притащил санки. Мы насилино усадили на них Нику и впряженлись всей оравой.

Из ограды навстречу нашему ликующему поезду высыпала толпа кричащих женщин. Они были одеты наспех, кто во что. Впереди всех Никина мать с растрёпанными волосами, с разгорячённым лицом – её оторвали от кухонной плиты. Ничего хорошего встреча с нею не сулила – мы кинулись врассыпную. Остались Рита и Ника.

Первая затрецина досталась Рите. После этого тётя Вера принялась за Нику. Он хныкал и показывал матери замёрзшую варежку:

– Мамочка, у меня же всё целое. Мамочка, у меня же всё целое.

Тётя Вера наконец одумалась, сграбастала Нику в охапку и пустилась бежать к дому.

Женщины разошлись по домам.

Рита пальцами пощупала свою щёку, на которой всё ещё горел след незаслуженной пощёчины.

– Больно?

– А-а, ерунда. Дура она заполошная.

Ритке попало ещё и дома от тётки. Мы не могли понять, за что её били.

Позицию взрослых объяснила тётя Зина:

– Поделом. Этакая кобыла не могла наподдавать вам, чтобы не лезли на лёд.

В тридцать втором году Первое мая совпало с Пасхой.

Утром во дворе под окнами каменного дома начала выстраиваться колонна демонстрантов.

Ждали сигнала городской сирены – он должен оповестить о начале демонстрации.

Всюду алели банты, косынки и флаги. Мы не отставали от других: к нашим рубашкам пришиты были матерчатые звёздочки.

Из ворот вывалились неорганизованной толпой и вновь начали разбираться порядно на пустыре. Колонна двинулась к площади не напрямую, а в обход по Ивановской улице. Мы бежали вслед за демонстрантами по тротуарам. На площадь нас не пустили, мы только издали видели трибуну, обитую красной материей, и людей, стоящих наверху.

Во двор въехали два грузовика. По углам кузовов укреплены флаги, над шоферской кабиной трепыхались ленты.

Те, кто подогадливее, сообразили, что на машинах будут катать детвору.

Грузовик, в который попали мы с Витькой, вышел из ворот первым. К площади нас не повезли, машина завернула на Семинарскую улицу.

К такой скорости я ещё не привык. Невозможно было уследить, как мимо проносились знакомые деревянные домишкы. Они и не казались теперь знакомыми. Только что проехали нашу школу, и я не заметил даже, стояла ли на своём месте водокачка, как мы очутились на другой улице. Слева мелькал зубчатый частокол дощатого забора. Сверху нам видно, что позади него прячется огромный котлован, тесовые сараи и кирпичные штабеля. На этом

месте должны построить заводской клуб. Под колёсами протарахтел старенький мост – и начались улицы, где ни Витька, ни я ни разу не бывали. В голове всё перемешалось, я уже не соображал, где мы едем, и когда впереди вдруг возник длинный кирпичный забор и в конце, за ним, купол колокольни, я ещё не понял, что мы вернулись на свой двор.

Из кузова не хотелось вылезать, но нас дожидались те, кто не попал в первую очередь.

Праздничные подарки должны были раздавать в столовой. Накануне тётя Зина и Катька далеко за полночь kleили бумажные пакеты из старых ученических тетрадей и газет. Нужно было заготовить больше ста пакетов. Обычно, если было что срочное и нетяжёлое, им помогала баба Нюша. На этот раз она отказалась – пошла в церковь на пасхальную службу. Нам так и не удалось выпытать у тёти Зины, что будет в пакетах. На наши вопросы она только отшучивалась:

– По живому кролику положат. Хватайте сразу за уши, чтобы не убежал.

Она была настроена по-праздничному весело, всё время пересмеивалась с Катькой.

Оказывается, подарки были заготовлены не строго по списку, а с небольшим запасом, чтобы не было обиженных.

Очередь запрудила лестницу. Нижние не знали, что делается наверху, от нетерпения сильнее нажимали. Нам удалось пробиться до середины нижнего марша. Снизу напирала беспокойная орда пацанов, двигаться вперёд не позволяла плотная живая стена счастливчиков, успевших попасть сюда раньше нас. Витька намертво вцепился в мою руку своими костлявыми пальцами. Выстоять давку нам было не впервой – у нас уже был накоплен в этом немалый опыт.

Долго мы находились в неизвестности. Ясно было только одно – голова очереди упёрлась в запертую дверь, поэтому мы и не двигаемся вперёд. Потом сверху пошла упругая волна, осадившая нас назад.

– Тихо, огольцы, не все сразу, – раздался неожиданно голос Хомяка.

– Интересно: он-то чего ради здесь командует? Только его и не хватало.

Наверху толпа пацанов с лестничной площадки хлынула в открытую дверь. Нас с Витькой сразу взнесло до середины второго марша лестницы. Наконец Хомяку удалось остановить лавину и захлопнуть дверь.

Хомяк был явно наделён полномочиями распоряжаться и следить за порядком. Прежде чем запускать следующую партию, он сам протиснулся через дверь на лестничную площадку. Скомандовал:

– Пацаны! Выстроились по одному – в затылок. Эй, там! Очистите лестницу!

Ему пришлось самому выстраивать всех и расталкивать. Потом он выпустил из столовой первую ватагу ребят, получивших подарки. Они цепочкой двинулись вниз, оттеснив нас от лестничных перил. Каждый нёс бумажный пакет. Кто-то в нетерпении жевал и щёлкал орехами. Запахло мятными пряниками.

Мы попали в столовую на третий заход. Позади оставалось не так уж много народу – внизу лестница совсем очистилась. Конечно, нам бы нужно было выждать, подойти после всех, как советовала тётя Зина.

Подарки выдавали из окошка раздаточной. Хомяк, придавив список к стене, карандашом отчекрыживал метки напротив фамилии ребят, получивших подарок. Одним глазом косил на очередь, другим отыскивал фамилию на листке.

Нас с Витькой не могло быть в этом списке, и Хомяк, конечно, не ошибётся. И хоть мысленно я представлял, чем должна закончиться наша попытка – Хомяк за шкирку вытурит нас из столовой, – уходить из очереди подобру-поздорову раньше времени не хотелось.

Я старался не глядеть на Кольку. Только чем это могло нам помочь?

Тут же вертелся пронырливый Щепа.

Щепа первый заметил меня и что-то шепнул брату. Тот вскользь взглянул на нас и опять занялся списком.

Окошко раздаточной было рядом. Я видел озабоченное лицо тёти Зины, которая подавала подарки в протянутые ребячью руки. Меня подтолкнули сзади. Газетная бумага ломко захрустела в моих ладонях. Я ожидал, что Хомяк вырвет пакет из рук, но вместо этого он отпихнул меня от кухонной стойки.

– Не задерживайся. Получил – и проваливай!

Мне почудилось, будто Колька подмигнул мне своим подслеповатым глазом. Вслед за мною из очереди выжали Витьку. Он сграбастал пакет обеими руками. В давке Витьку крепко помяли: рубашка наполовину вылезла поверх штанишек, матерчатая звёздочка на груди болталась на последней нитке.

Все ребята – и наши и камнедомские – собрались у заднего крыльца церкви, расселись на проросших прошлогодней травою каменных ступенях. Шёл оживлённый торг: обменивали орехи на пряники, пряники на конфеты... Карманы Никиной куртки были оттопырены – по случаю Пасхи его мать расщедрилась и подарила ему полдюжины крашеных яиц. Половину из них он применял на орехи и конфеты.

В наших пакетах тоже лежало по варёному яйцу, и они тоже были покрашены. Только у Ники они были красивыми и разноцветными: зелёными, голубыми, жёлтыми и пёстрыми, а наши одного цвета – густо-бордовые. Краска пропитала скорлупу, окрасила даже внутреннюю плёнку и белок. Ника затеял игру биться яичками: чьё окажется крепче, тот победил. Пока я раздумывал, стоит ли испытывать судьбу, появился Щепа.

Как это я, балда, не сообразил, что нам с Витькой лучше всего было держаться подальше. Теперь-то я понял, что там, в столовой, не ошибся – Колька Хомяк в самом деле подмигнул мне. Щепа пришёл получить от нас свою долю. Я раскрыл перед ним пакет и похолодел от ожидания. Я не знал точно, сколько с меня причитается. Щепа запустил обе руки внутрь пакета. Взял яйцо, пряник и горсть орехов. Рассовал всё это в карманы и потянулся к Витькиному подарку.

Но Витька с отчаянной силой сцепился в бумажный пакет:

– Не дам!

Витька такой, что не уступит. Драки со Щепою теперь не избежать. Я отдал свой пакет Ваське, освободил руки. Но драться в тот день нам не пришлось.

Когда в столовой закончили раздавать подарки, появился Хомяк. Витька втянул голову в плечи. Сейчас его мог лупить кто угодно, он всё равно не выпустит пакета – будет реветь и кусаться.

Хомяк щёлкал орехами и через плечо небрежно выплёывал шелуху. На нём были длинные брюки с широкими штанинами, которые по низу немного забахромились. Хомяк явно фасонил перед нами, нарочно волочил ногу так, что сзади поднималась пыль.

Щепа сразу пожаловался:

– Шкилет зажался.

Я думал, Колька сграбастает Витьку и отберёт весь пакет целиком. Тут уж я ничего не смогу поделать. Нашей заступнице, Ритки, proximity не было видно.

– Оставь его, не связывайся, – решил Хомяк, махнув на Витьку рукой.

– Подавись, жлоба! В другой раз фигу излучишь, – пообещал Щепа.

Несколько дней спустя на общем собрании тёте Зине объявили выговор «за проявленную политическую близорукость», за то, что она пошла «на поводу у церковников». Эти слова запомнила Катюка. Пока в столовой шло собрание, она сидела на кухне, вместо матери чистила на утро картошку. Сквозь дощатую перегородку ей было слышно всё.

– Хотела приятное сделать. Помню, сколько у самой было радости в детстве, когда мне дарили крашеные яйца. Дня два бережёшь, не ешь – любуешься, – оправдывалась тётя Зина. Под конец она признала, что допустила ошибку, но выговор ей всё равно дали и обещали написать о ней заметку в стенную газету.

Вечером того же дня квартиру Жердиных навестили трое активистов из Золотранса – две женщины и мужчина. Хотя в руках у мужчины был портфель и одет он был в синие галифе и армейскую гимнастёрку, старшим оказался не он. Женщину, которая возглавляла

комиссию, я видел и раньше, она часто появлялась у нас. Я запомнил её по синей кофте с засученными рукавами, стремительной походке и озабоченному лицу.

— Здравствуйте, товарищ Жердина. Пришла обследовать, как живёте, — выпалила она.

Похоже было, что тётя Зина немного растерялась, поспешно начала убирать со скамейки приготовленное для стирки бельё.

— Смотрите, — сказала она.

Все трое прошли в комнаты, поинтересовались, сколько человек где живёт. Вопросы задавала только старшая, мужчина с портфелем и вторая женщина молча сопровождали её. Заглянули в комнату к бабе Нюши, покачали головами, увидав икону с лампадкой.

— Что с неё взять — старый человек. Да и никому мешает, — оправдывалась тётя Зина.

— Примиренчество — вот как это называется, — сказала женщина, и мужчина в галифе кивком согласился с нею. — Только не за этим мы пришли сейчас.

— Сколько в семье детей?

— Пятеро.

— Старшему сколько?

— Девочка у меня старшая — двенадцать ей.

— Помощников не скоро дождёшься.

Собственно, расспрашивать больше было нечего, смотреть тоже — коридор и две комнаты, нового не прибавилось. Мужчина что-то записал себе на заметку, положил в портфель и ушёл. А женщина не ушла, осталась побеседовать с тётей Зиной по душам. В комнате вдруг раскричалась Октябринка, и разговаривать стало невозможно. Тётя Зина и женщина ушли на кухню, Катька осталась укачивать девочку.

— Послушай, о чём говорить будут, — шёпотом приказала мне Катька, — потом расскажешь.

— Как жить думаешь дальше? — глядя в лицо тёте Зине, с места в карьер спросила женщина.

— Пятерых не поднимешь. На мужика не рассчитывай — кто тебя с ними возьмёт.

— Так что же, в петлю мне? — улыбнулась тётя Зина.

— В петлю? — переспросила женщина, наморщив лоб. Потом, глядя на тёту Зину, тоже рассмеялась. — Нет, насчёт петли не выйдет, — погрозила она пальцем. — Грамотная?

— Расписываться умею.

— Вот тебе мой совет — поступай-ка ты на стройку, на завод. Руки сама знаешь как нужны. Походишь в подсобных, а потом освоишь дело — специальность будет.

— Так я же не сложа руки сижу — работаю.

— Мыть посуду да чистить картошку без тебя найдутся. Ты вперёд заглядывай: учиться надо, специальность осваивать.

— Я разве против? Только куда я от них, за собой потащу?

— Не сразу, а поможем. Ты молодая, здоровая, к работе не привыкать. Самой будет лучше — и заработок, и карточки первой категории, и к общему делу примкнёшь.

— Подумаю.

— Думай, да недолго раздумывай. Решай. А теперь о собрании, — круто повернула она разговор на другое. — Обиделась. Может, мы и переборщили с тобой. Выговор переживёшь. Свою ошибку пойми. Ты им радости хочешь, а мы нет? Да разве же в крашеных яйцах счастье — в новой жизни, которую сообща начинаем. Трудно приходится, это верно. Переживём и поднимем. Не для себя — для них же строим.

Катька ходила по коридорчику, укачивала Октябринку, а сама вся навострилась, слушала разговор, не очень полагалась на меня — пойму ли я всё как надо.

Баба Нюша явилась совсем некстати — это было видно по тому, как недовольно нахмурилась тётя Зина. Старуха возвратилась из церкви: на ней был чёрный платок и её лучшее платье. Поняла всё с одного взгляда и женщина.

— Проходите, — сказала она.

Баба Нюша присела на лавку и, поджав губы, взглянула на женщину:

— Молитвами не насытишься. Это только в церковных баснях одним хлебом толпу можно накормить, — говорила женщина, не глядя на бабу Нюшу. — Вот ты, Жердина, говоришь,

верующей была, а радостей от этого много имела? Тебя расписываться и то советская власть научила, а не попы. А дети твои уже в школу ходят. Вот и соображай, откуда свет идёт. Нас-то с тобою он, может быть, только стороной заденет – для них строим. – Она показала на стриженые головы Витьки и младшего Васькиного брата, которые прилепились возле стола с разинутыми ртами. – И завод и клуб – всё для них. Сама выбирай, с кем тебе в ногу шагать.

– Давно уже выбрала, – сказала тётя Зина.

– Права я или не права? – всем корпусом вдруг обернулась женщина к бабе Нюше.

Старуха поднялась и молча направилась в свою комнату. У дверей остановилась.

– Свет и радости от бога, – сказала она. – Сколько кому нужно, столько и отпускает.

Баба Нюша плотно притворила за собой дверь.

– Вот, слыхала? А кому сколько отпускалось, сама знаешь. Не очень-то он был щедр для нашего брата. – Женщина тоже встала. – Ты, Жердина, подумай. Хорошенько подумай, – ещё раз напомнила она тёте Зине на прощанье.

Много вечеров подряд Жердины всей семьёй обсуждали, переходить тёте Зине на другую работу или оставаться на прежней. Прошёл слух, что к зиме столовую могут закрыть. Куда тогда?

Большой набор рабочих шёл на строительство клуба при метзаводе. Главным козырем в пользу нового места были карточки первой категории.

– У них в кооперативе всё отоваривают. Даже молоко на детей дают. И уголь в первую очередь. И на одежду скорее можно ордера добиться.

В конце концов эти соображения перевесили: тётя Зина уволилась из столовой, поступила работать на строительство – подносить кирпичи.

Мать тоже не раз поговаривала, что работа в инвалидном доме никаких выгод не даёт.

– Главное, жилья вовек не получишь.

Как-то вечером она пришла с работы и сказала:

– Ну, Зина, кажется, выходила я себе место. Последний месяц в инвалидном доме отмаюсь. Оказывается, в конном парке скоро нужен будет человек, чтобы подвозить горячие обеды вожчикам, которые работают на товарной станции.

– Обещают квартиру там же, при конном дворе. Не сразу, правда, к осени. Ну да больше терпели – подождём.

Нас с Витькой это известие не обрадовало: переезжать куда-то из жердинской квартиры нам не хотелось. Мы и понять не могли: разве здесь плохо?

Два последних урока в школе отменили. Вся наша смена высыпала во двор. Выстроились в шеренги, долго выравнивались и пересчитывались. Наше возбуждение нарастало, хотя нам ещё не объявили, для чего строят. Остались даже те, кто собирался удрать: вначале нужно было узнать, что будет. Появились горнисты и барабанщики в белых рубашках и галстуках. Вид у них торжественный и неприступный. Они-то, наверно, знали, что происходит, но молчали.

Нас повели на Тихвинскую площадь. Позади растянувшегося строя двигалась подвода, груженная лопатами. Они беспрестанно бренчали, заглушая барабан и горны.

На площадь уже были привезены и свалены возам тополиные ростки. Нам поручили вырыть ямки и посадить жидкие и ломкие прутики. Пришли не одни мы – вокруг площади стояли и отряды из других школ.

Нашему классу достался угол площади, обращённый к костёлу.

Ростки были такими хилыми и тонкими, что затея эта представлялась мне напрасной. Однако лопату взял и стал копать землю вместе с другими ребятами.

К моему удивлению, летом почти все саженцы принялись и зазеленели. Лишь немногие из них зачахли.

В ожидании карточек первой категории Жердиным пришлось потуже затянуть ремни. Отпал и приработок – стирка. На работе тётя Зина изматывалась, приходила усталая, а Катьке хватало дел помогать бабе Нюше по дому. Всех заказчиков, которых обстиривал Жердины, забрала Ритка: ей хотелось заработать к зиме на валенки.

Ревунью Октябринку никак не могли отвадить от материиной груди. Хлебную тюрю в тряпочке она хотя и сосала, но всё равно исходила от крика, требовала молока. В обед Катька таскала её на стройку к матери. Иногда они так и оставались там до вечера.

Выкупать хлеб по карточкам должен был Васька. Мы частенько ходили с ним вместе. Магазин был недалеко от стройки, где работала Васькина мать.

Выстаивать бесконечную очередь одному было мучительно. Васька звал меня с собой. Тётя Зина позволяла нам съедать небольшие привески. Васька по-честному делился со мною. Потом мы пошли на стройку.

Конный обоз растянулся вдоль квартала. Разморённые жарою кони едва плелись посредине улицы. Чалый ломовик размеренно переступал ногами. Копыта неслышно ступали по мягкому слою пыли. Усатый мужик, с головы до ног будто обсыпанный мукой, сидел не шелохнувшись на телеге и не трогал вожжей. На остальных подводах через одну в таком же дремотном оцепенении сидели другие возчики.

Везли кирпичи на стройку.

Мы с Васькой обогнали обоз. Катька издали увидала нас, крикнула матери – та с напарницей, обе в одинаково по самый лоб повязанных косынках, тащили наверх по деревянным сходням носилки с раствором. Октябринка беззаботно дрыхнула у Катьки на руках.

– Опять стрескали! – накинулась на Ваську сестра.

– Не было большого довеска – малюсенький, – уверял Васька. – Спроси у Серьги.

– А то он правду скажет, твой Серьга, дожидайся.

Я помалкивал. По правде сказать, довесок, который и достался нам, не стоил Катькиного гнева. Да и напустилась она на брата, скорее, просто для порядку. Проснулась Октябринка, и Катька начала укачивать её на руках. Нужно было усыпить её прежде, чем она разревётся. Для острастки Катька молчаливо зыркнула на Ваську и ушла в тень. Здесь двое малышей строили башню из песка, приготовленного для раствора. Острая макушка башни всё время рассыпалась, и они начинали лепить заново. В тени настила сидела девочка постарше, лет пяти, и, подражая Катьке, убаюкивала лысую куклу. Рядом на кирпичах лежал незаконченный венок из одуванчиков.

– Кать... Кать... – время от времени ныла девочка.

– Ох ты, моё горюшко, – говорила Катька, закатывая глаза. – Доплетай сама, я тебе показала.

– Не выходит.

– Учись. Тоже мне, развели детский сад, – обращаясь за сочувствием к нам, пожаловалась Катька. – На плодят, а я отдувайся.

Многие детные женщины, которые работали на стройке, приводили с собою ребятишек. Катьке приходилось шефствовать над безнадзорной мелюзгой.

Обоз с кирпичом завернул на стройку. Душное облако, медленно оседая, расплылось по захламлённой ограде. Накалённый воздух першил в горле.

Усатый возчик спрыгнул с телеги.

– Эй, отчаянные, шабашить пора! – задрав голову кверху, крикнул он.

– Спасибо – напомнил, – отозвалась сверху напарница тёти Зины.

Подводы заполнили всю ограду. Видно, никому не хотелось начинать разгрузку в этом пекле: возчики собирались в тень на перекур. На лесах работа тоже остановилась. Женщины достали узелки с едой. Малыши бросили недостроенную башню. Октябринка, будто только и ждала этого, разревелась во всю мочь.

Тётя Зина взяла её у Катьки и отвернулась от мужиков к незаконченной кирпичной стене будущего клуба.

Усатый возчик оказался неуёмным: всё время приставал к женщинам с шутками и сам хохотал больше всех. Видимо, была какая-то непонятная связь между словами, какие выкрикивал он, и тем, что делала тётя Зина. Остальные женщины и мужики попеременно поглядывали на них обоих. Катька с неприязнью и подозрительностью косилась на хорохористого мужика.

Должно быть, у Катьки были серьёзные основания не доверять усатому: ей было известно многое больше чем нам.

Вскоре дядя Кеша – так звали усатого возчика – поселился у Жердиных. За полтора месяца, которые он прожил в одной квартире с нами, мы все возненавидели его. Он был капризным и раздражительным. Возвратясь с работы, заставлял Ваську стягивать с себя сапоги, босиком садился к столу и в одиночку съедал свой обед. Баба Нюша готовила ему отдельно из его пайка. Закуривал и ложился на постель. Засыпал с папиросою в руке. При нём все ходили на цыпочках и разговаривали шёпотом. Если кто будил его, дядя Кеша швырял в нарушителя сапогом. Рука у него меткая, он никогда не промахивался.

– Ну, мамка, ну, мамка, – как-то даже не по-взрослому, по-старушечки сетовала Катька, осуждая тётю Зину. – Мало ей пятерых ртов, шестого захотела. Кормить небось самой придётся. Усатый, что ли, станет – дожидайся.

На этот раз её пророчество сбылось. Вскоре дядя Кеша навсегда исчез из дома, а через несколько месяцев тёте Зине пришлось оставить стройку – подыскивать посильную для беременной работу.

Старый каменный дом сгорел в тридцать третьем году. Пожара я не видел: мы к тому времени переехали на другую квартиру, в конный парк, – но я хорошо представлял себе это зрелище. Огонь со стоном вырывался из окон, всё гудело и трещало. Гаснущие искры кружились в вышине. Стрижи с пронзительным криком пытались защитить свои гибнущие гнёзда и падали наземь с обожжёнными перьями. Пожарная команда сражалась с огнём. Деревянный дом отстояли, не дали перекинуться огню. Жертв не было. Сгорели конторские бумаги на втором этаже да рваные тюфяки и сосновые топчаны, обжитые клопами и тараканами в заселённых подвалах.

После пожара опалённый остов долго возвышался посреди затихшего двора. Спустя год или два на месте каменного дома начали строить хлебозавод. Тогда же из-за нехватки жилья приспособили под общежитие Старый собор. Служба в нём прекратилась ещё до этого.

Сейчас уже невозможно припомнить всех перемен, происходивших в этом квартале. Помню – мы ещё жили у Жердиных, – наш дом отгородили забором. Дощатые зубья торчали перед самыми окнами. Позади забора возвели склад. Ониостояли до самой войны и служили ещё в войну. Сейчас от них не осталось и следа.

Не сохранилось в памяти, когда убрали арку и Московские ворота. Помню только, как взрывали большой собор на Тихвинской площади...

Соборную церковь взрывали летом. В ближних домах окна закрыли ставнями, позаклеивали газетами, чтобы не вышибло ударной волной. На перекрёстках улиц, ведущих к собору, дежурили постовые, никого не пускали.

Про то, что церковь готовятся взрывать, слухи ходили давно. Мы едва дождались этого дня. Почти все пацаны из нашего двора прятались под аркою на берегу Ангары. Милиционеру надоело прогонять нас, он удовлетворился тем, что мы не лезли ближе.

На паперти Старого собора толпились старухи и нищие, должно быть, со всего города. В смятении и ужасе смотрели они на пятиглавую громаду соборной церкви.

С берега открывался весь собор, не было видно только одного купола на фронтальной стороне. Над церковью уже постарались – в ней давно неправляли служб, – наверху центрального купола зияли щели окон, в них кое-где посверкивали обломки разбитых стёкол. И всё же собор выглядел несокрушимой махиной. Коричневый цвет придавал ему мрачный вид, утяжелял стены.

Обеспокоенные стрижи кружились над своими гнёздами – ими были сплошь облеплены карнизы и выступы куполов. Воздух оглашался их криками.

Народ на паперти Старого собора прибывал. В полуумраке притвора маячила золочёная риза. Видимо, и сам поп томился ожиданием.

Ухнул первый взрыв. Хлёсткая волна прокатилась над Ангарой. Густое облако взметнулось над центральным куполом. Пыль ещё не осела, когда снова дважды громыхнуло. Запах пороховой гари и кирпичного крошева принесло к берегу. Пыль опустилась, видна стал

искорёженная взрывами громоздкая туша церкви. Непривычно, дико было смотреть на обезглавленный, лишённый куполов собор. Чёрные клубы то застилали, то обнажали кирпичную кладку, оголённую от штукатурки и извести. Стены собора будто кровоточили. Из пыльного хаоса слышались отчаянные крики птиц.

– Конец света! – вопил на паперти старик, колотя тяжёлой палкой по каменным плитам. Всклокоченная борода тряслась, из-под бровей сверкали маленькие круглые глаза.

– Конец света пришёл!

Лицо бабы Нюши помрачнело, взгляд стал тяжёлым и неподвижным. Если бы не тётя Зина, она обварила бы себе руки, когда нацеживала кипяток из самовара.

– Не пугай – пуганые. Не конец света, а начало, – осадила её тётя Зина.

– Хорошенько начало.

Баба Нюша придвинула к себе чашку с блюдцем в надолго окостенела.

– Начало, – заверила тётя Зина. – Что это с тобою: сидишь, словно неживая?

– Слягу я, не переживу.

– Переживёшь. Придумали сами себе: конец света. Не света конец, а темноты.

Нинка добавалась – уронила на пол эмалированное блюдце. Баба Нюша хлестнула её по рукам, та надулась и полезла под стол.

– В перерыв приходил лектор. Молодой такой, бойкий, – рассказывала тётя Зина. – Бабы его вопросами закидали, он от нас как от мух отбивался. Скажет слово – всех рассмешишт.

– Чем веселиться, подумала бы лучше о них. – Баба Нюша показала на ребятишек.

– А то не о них думаем? Для себя строим? Для них и будет. Посмотришь ещё, как заживём.

– Давно обещаешь – когда исполнится? Может, когда завод свой построите?

– И завод тоже. С него и начнётся новая жизнь.

– Началась уже. Собор кому помешал? В него люди ходили, утешение было.

– В клуб будут ходить. К зиме достроим. Кирпичи от собора на клуб и пойдут.

– Не переживу я, – снова пожаловалась баба Нюша. У неё в самом деле тряслись руки, и, когда она подносила ко рту блюдечко, горячий чай расплёскивался ей на колени, но она даже не замечала этого.

Вскоре она слегла всерьёз. Несколько дней не показывалась из своей комнатушки. Одна Катька не управиться в доме, тем более что половину дня она проводит с Октябринкою.

На этот раз нам с Васькой выпало нелёгкое задание – помыть полы. Я заполз с мокрой тряпкой под большую жердинскую кровать как раз, когда тётя Зина вошла в комнату к бабе Нюше. Через дверь, которая никогда не открывалась – по обе стороны от неё стояли кровати, – мне хорошо был слышен весь разговор.

– Может, доктора позвать? – спросила тётя Зина.

– Чего уж, – тусклым голосом ответила старуха. – Доктор мне годов не убавит. Ты вот послушай, Зинка. – Баба Нюша перешла на быстрый и горячий шёпот: – Тут у меня маленько сохранилось – золотой один, серьги да колечко... Серьги – пустяк: дутыши. А золотой – червонное золото, монетное. На похороны берегу. Смотри, чтобы крест на могилке стоял как положено.

– Да мне-то что. Крест так крест, – пообещала тётя Зина.

– Оградку бы ещё, – жалобно просила баба Нюша, – оградку и кустик. Рябинку бы посадить.

– Тебе не всё равно, что там после будет? Да ладно. Поставим оградку.

– Смотри, Зинка, греха не возьми на душу. Крест непременно чтобы был.

– За попом-то посыпать, что ли?

– Тебе уж и не терпится, – укорила баба Нюша. – Придёт время – скажу.

– Измучилась я, – пожаловалась тётя Зина.

– Дура мамка будет, если послушается. Золото – на оградку. Зачем ей оградка? В торгсине можно и колбасы, и масла купить или куль муки – на всю зиму хватит, – прикидывала Катька. – Скорее бы уже попа звала!

Посыпать за попом не понадобилось: вскоре баба Нюша поднялась на ноги.

Катька попыталась сама найти золотые вещи среди старухиного добра. Нам с Васькой она призналась:

- Всё общарила – нигде. Руки только об иголки наколола. У-у, чёртова ведьма!
- Следы Катькиного обыска баба Нюша обнаружила тот же день.
- Всё как есть перебуторили – рылись, – нажаловалась она тёте Зине.
- Потерялось что-нибудь?
- Нет вроде. Гребешка вот только не найду. Жёсткий взгляд тёти Зины заставил Катьку съёжиться.
- Не брала! Ей-богу, не брала, – клялась Катька, но тётя Зина уже искала старый отцовский ремень.

Гребешок Катька возвратила, но от выволочки это её не спасло. Под горячую руку досталось Ваське и мне.

- Без вас тут не обошлось, – рассудила тётя Зина

Взорванный собор упрямо сопротивлялся истреблению. Кирпичи в его стенах так крепко были связаны раствором, что их легче было разломить, чем отделить друг от друга. Груды обломков и ни на что не годного лома долго ещё возвышались на месте церкви. Мелкая крошка и кирпичный бой пошли на бутовку площади.

Соборная ограда пустовала недолго, скоро в ней появились дощатые времянки и навесы. Во двор заезжали грузовики. Машины простоявали там всю ночь. Должно быть, это был летний гараж. Мы с Васькой приохотились кататься на порожних машинах. Поджидали грузовик, выехавший из ворот, и заскакивали в кузов, пока он ещё не набрал скорость. Пожалуй, это было самое увлекательное и рискованное занятие. Шоферы не больно-то потакали нашей забаве. Если машина внезапно начинала тормозить, лучше было выпрыгивать и драпать без оглядки.

Перед понтонным мостом или же перед мостом через Ушаковку мы обычно соскакивали с грузовика – зависело это от того, куда направлялась машина. Назад возвращались пешком или же подкарауливали обратную машину.

Однажды мы попали в беду: зазевались и выпрыгнули из кузова уже посреди двора, в окружении шоферов и мужиков, работающих на разборке битого кирпича. Нам надрали уши, потом заперли в пустой сарай. Помню запах бензина, кирпичной и цементной пыли, проникавший в щели, чувство своей вины и голод, мучивший нас почему-то много сильнее, чем в дни, когда мы были на свободе.

В городе начались эпидемии. Занятия в школах прервались. Наш двор пострадал особенно сильно, в первую очередь камнедомские – в тесных, забитых подвалах там свирепствовали брюшняк и скарлатина. Вначале похоронили Щепу, а вскоре снесли ещё двоих.

К нам приехал врач и сестра делать прививки. Они расположились в кухне, поставили на плиту свой кипятильник со шприцами и иголками. До этого мне делали только прививку от оспы. Укол от тифа оказался намного больнее. Иголку вогнали под лопатку, и после этого там сразу одеревенело, тупая ноющая боль не отпускала до самого вечера. Нику мать уложила даже в постель, ставила ему на голову холодные компрессы.

Только и уколы не спасли всех. Тиф и скарлатина пришли к нам. У Витьки поднялась температура, его начало знобить. Он стал плаксивым. Вечером даже от еды отказался. Мать встревожилась и утром не пошла на работу. Я заглядывал в комнату бабы Нюши, где положили Витьку. Он не узнавал меня. Ему ни до кого не было дела. Накануне я крепко поколотил его, и теперь меня грызло раскаяние: не отшиб ли я Витьке печёнки? Может быть, он от этого и слег в постель?

Вечером приехал врач, осмотрел Витьку. Утром его увезли в больницу. В тот же день загудосила Нинка – у неё тоже поднялась температура. Снова кинулись за врачом. Он признал не тиф, а истощение.

- Нужно усиленное питание.
- Может, каких-нибудь порошков пропишете, – упрашивала тётя Зина.

Доктор был неумолим:

— Лекарства не помогут.

Катька мобилизовала нас с Васькой перекапывать на второй ряд поповскую картошку. Земля сверху промёрзла и с трудом поддавалась нашим усилиям. Мы добыли всего несколько замёрзших картофелин. Они не пропали — тётя Зина добавила их в суп. Но вряд ли эта добавка могла спасти Нинку от истощения.

Неожиданная выручка пришла от бабы Нюши. Никто на неё не рассчитывал. Утром она отдала тёте Зине золотое кольцо и серьги.

В торгсин отправились чуть ли не всем семейством, Васька звал меня, но я не пошёл: подумают, что увязался специально, чтобы выклянчить подачку. Втайне я надеялся, что тётя Зина и так не позабудет меня — уж самый тонюсенький кружок колбасы да отрежет.

Однако ни колбасы, ни печенья, ни конфет, как я рассчитывал, не взяли — купили муки, немного сахару и масла.

Васька рассказал мне, как они вчетвером ходили от прилавка к прилавку, смотрели подряд на все цены и облизывались. Васька и Вовка канючили:

— Мам, купи колбасы.

— Один пряничек.

Наконец тётя Зина выбила в кассе чек за муку и сахар. Немного масла взяли для Нинки. Так мне и не пришлось попробовать торгсиновской колбасы.

Ритка принесла показать купленные на барахолке валенки. Обнова была что надо! Никакой мороз теперь не страшен Ритке. Валенки, правда, изрядно поношенные, подошва подшита кожей, и задники тоже поставлены из кожи. Но валенки были выбраны с запасом на вырост, внутрь можно подкладывать войлочную стельку. От зависти у Катьки изменился голос:

— Ты просто счастливая, Ритка, самая счастливая!

По Риткиному лицу было видно, как ей не терпится, чтобы поскорее выпал на дворе первый снег и можно было пофорсить в обновке.

Но снегу Ритка так и не дождалась: первые в её жизни валенки остались ненадёванными.

Ритку увезли в ту же больницу, где лежал Витька, и умерли они в один день.

В конном парке нам выделили подводу. На неё поставили два детских гроба, один побольше, другой совсем маленький. От них пахло сосновой стружкой.

Последние дни той осени больше походили на весну. Днём сильно припекало, и сухие травы источали горький аромат. На телеге нас сидело четверо: неразговорчивый возчик, Риткина тётка и мы с матерью. Когда выехали из двора, на подводу запрыгнул ещё один мужик, которого раньше я никогда не видел. Он сопровождал нас до самой больницы и за всё время произнёс не больше трёх слов.

Позднее я узнал, что это был Риткин отец. Он нисколько не походил на того гусара-мужчину, про которого часто вспоминала Ритка.

Выехали на булыжную мостовую. От тряски телегу лихорадило, гробики подскакивали, и пустота внутри них отзывалась тихим гулом. Точно такой звук издавали Витькины рёбра, когда я поддавал ему тумаки. Удивительно, что меня до сих пор не изобличили, никто не считал меня виноватым в Витькиной смерти. Сознание своей вины грызло меня. Я укорял себя, что жалел для него несчастную пайку хлеба — половину и то не всегда выносил из столовой. Может быть, тогда он не был бы таким тощим и легче перенёс бы мои колотушки. Чистое небо было, как никогда, высоким, прозрачный купол охватывал весь город и окрестные горы, которые виднелись поразительно чётко: на гребне можно было различить каждое дерево по отдельности. Старые тополя по обочинам улицы обмелела не дочиста, потерявшие желтизну жухлые листья болтались на голых ветках обвислыми мочками. В тени мягко голубели нерастаявшие клинья выпавшего ночью снега. Из-под него вытаивал палый лист. Позади высокого забора на улицу протянулись ветви рябины. Тяжёлые гроздья сочно алели на фоне дощатого ската крыши. Может быть, впервые я ощутил, как беспределен мир и как мало места в нём занимает наш двор.

Смутные чувства тревожили меня, я старался сильнее разбередить в себе жалость к Витьке – до сдавленных слёз мучился и наслаждался этой незатихающей болью.

Взрослые спустились в подвал, где размещалась покойницкая. До меня никому не было дела, я потихоньку сошёл вниз. Из приоткрытой двери тянуло затхлым. В чахлом полусвете всё предстало загадочным и пугающим. Вначале глаза привыкали к полумраку. В отдалении слышались тихие голоса и шаги, расплывчатые тени пересекали оконные проёмы. Густой и спёртый воздух казался ощутимой преградой – трудно было отважиться и ступить в него. Дверь позади меня жалобно всхлипнула и под собственным весом плотно вошла в колоду. В страхе, не смея позвать на помощь, я прижался спиной к холодным тесинам, из которых она сколочена.

Позади распахнулась дверь. Я кинулся в светлый проём, на кого-то наткнулся и по каменным ступеням одним духом вбежал наверх. И снова очутился под необъятным сводом осеннего неба.

Вскоре наверх один за другим вынесли два гроба. Возчик и Риткин отец поставили их на телегу.

Они лежали рядом, разделённые сосновыми стенками гробов. На них словно остался налёт пепла, глубоко въелся в каждую пору. Мне даже чудилось, что этот пепел налип и на мои руки, и на лицо. Витька почти не изменился – таким же прозрачным и худым был всегда. Ритку узнать невозможно. Вместо волос был синий и голый череп. Чужим ей стало и длинное тощее тело.

В мёртвое Риткино лицо я не осмелился взглянуть.

На этот раз семью Жердиных беда обошла стороной: Нинка вскоре поднялась на ноги. Понемногу всё пришло в прежнее равновесие. Шестого рта на руки тёти Зины не прибавилось – приняла меры. Она освоила штукатурное дело и работала в тепле. Её мечтой стало выучиться на мастера.

– Насколько ещё меня хватит тяжести ворочать? Лет на десять, – прикидывала она. – А жить надо больше, чтобы всех поднять.

Но для этого, кроме навыка и природной смекалки, нужно было постичь грамоту – придётся самой наряды закрывать и в схемах на чертежах разбираться. Она записалась на вечерние курсы ликбеза при заводе. И хотя вырваться на занятия ей удавалось не всякий раз, учение у неё продвигалось успешно. Читать она научилась быстро. Хуже было с письмом – буквы у неё выходили не чище Нинкиных каракулей. Но тётя Зина не унывала.:

– Кому надо, разберёт.

Баба Нюша совсем сдала. Единственное, с чем она ещёправлялась, – развлекала Октябринку.

– Выучу, чтобы горшок за собой убирала, – и на покой уйду, – обещала она.

Вскоре для меня настал тягостный день. Матери на новой работе дали комнату в коммунальной квартире и за нами прислали подводу. Васька провожал меня до рабочедомского моста.

Колёса телеги громыхали по застывшей грязи, словно по камням. Мы проехали мимо школы. Расставаться с ней мне так же не хотелось, как с жердинскою квартирой и нашим двором. Я не представлял себе другой школы и других ребят. Другое дело, если бы нас перевели учиться вместе с Васькой.

Миновали знакомую стройку, где работала тётя Зина. Позади извилистого забора поднялся кирпичный остов будущего клуба. Основные работы велись уже внутри здания.

Дальше начались заводские корпуса. Сам завод тогда тоже ещё только строился и обновлялся. Сквозь высокие решётчатые окна старого литейного цеха виднелись сполохи пламени, слышался деловой лязг и грохот работающего завода. Здесь и выплавлялся металл, про который тётя Зина сказала однажды:

– Из него всё можно выковать. Это – наш металл.

Завод остался позади, дальше шли края, ещё не изученные мною.

На этом кончилась пора моего детства, связанная со старым двором на берегу Ангары.

Тогда мы с Васькой Жердиным не знали ещё всех испытаний выпадут нам, и расставание казалось бедою, хуже которой трудно придумать.

С войны он не возвратился, как не возвратились многие из наших сверстников. Мне не пришлось увидеться с ним, когда мы оба стали взрослыми. Мы бы, наверно, посмеялись над тем, какие грустные были у нас лица, когда мы прощались с ним возле деревянного моста через Ушаковку.

На фронте побывал и младший Васькин брат, Витькин одногодок. Его взяли перед самым концом войны. Он к этому времени выучился на токаря и работал на машиностроительном заводе. Ему повезло: он вернулся целым и невредимым.

Фанерная дощечка, прибитая на запертых воротах у старой церкви, гласила: «Реставрацию храма Богоявления ведёт СМУ... прораб... бригадир...»

Неожиданным для меня было название церкви: в пору моего детства про неё все говорили: Старый собор – в отличии от Нового, который стоял на площади.

К автобусной остановке я возвращался той же дорогой, мимо хлебозавода и Спасской церкви. Перед заводскою оградой на прежнем пустыре теперь посажены деревца и разбиты цветочные клумбы. О том, как всё выглядело здесь около сорока лет назад, сейчас мало кто и помнит. А тогда мы не только слышали, что Иркутск строился на болоте, – сами видели остатки первобытной хляби, в которой в слякотную пору вязли телеги и лошади. Сколько же всего утрамбовано под нынешний асфальт?

От автобусной остановки Старого собора не видно, можно любоваться только Спасской церковью. Правда любоваться сейчас нечем. Одна из церковных вершин стояла одетая лесами. Видимо, церковью занималось тоже самое СМУ, которое реставрировало соседний храм и тут и там ремонтные работы продвигались одинаково медленно.

Но когда лесов не было, старинная церквушка простотою своего лёгкого очерка удачно смягчала тяжесть здания, стоящего в торце площади.

От прежнего окружения, какое было здесь ещё на моей памяти, сохранилось немного – три-четыре дома. Да и они потерялись в строю новых зданий.

Человек, искушённый в смене различных веяний, какие пережила наша архитектура за последние сорок лет: отыщет здесь всё: наивный и нерасчётливый конструктивизм тридцатых годов, декоративные башенки первых послевоенных лет, увенчанные шпилями, высоченные и грозные лжеколонны пятидесятых годов... Есть тут и здание, захваченное на распутье: строить начали до постановления об архитектурных излишествах, а заканчивали после. Есть и последние образцы – просторные оконные фасады, не раздробленные второстепенными деталями, – взгляд схватывает их как одно целое. Новый стиль настолько покорил наших градостроителей, что они спешно перелицевали под стекольные витрины фасады ещё двух домов, построенных несколько раньше. Общий вид застроек от этого и в самом деле многое выиграл.

Теперь и сама площадь стала неузнаваемой. Общий пустырь, выровненный битым кирпичом, давно позабылся – на его месте разбит сквер с асфальтированными дорожками, с фонтаном... Такой сквер может украсить любой город. Тополя, когда-то посаженные нашими руками, опоясывают его двумя лесными рядами. Лишь кое-где ряды разорваны – на этом месте саженцам не дали окрепнуть и вырасти.

Пришёл мой автобус. Когда он разворачивался на углу площади, мне ещё раз открылся вид на Старый собор. Мысленно я простился с ним. Теперь я уже не скоро соберусь навестить этот квартал.